

Фридрих ШИЛЛЕР

ПИСЬМА ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО 1

Итак, вам угодно разрешить мне изложить вам в ряде писем результаты моих изысканий о прекрасном и искусстве. Живо чувствую трудность, но также заманчивость и значительность этого начинания. Я буду говорить о предмете, стоящем в непосредственной связи с лучшей стороной нашего благоденствия и не в очень отдаленной с нравственным достоинством человеческой природы. Я буду защищать дело красоты пред сердцем, которое ощущает и проявляет всю ее силу; это сердце возьмет на себя самую тяжелую часть моего труда в исследовании, где приходится столь же часто ссылаться на чувства, как и на принципы.

Что я хотел испросить у вас как милость, то вы великодушно вменяете мне в обязанность, оставляя мне видимость заслуги там, где я лишь следую своему влечению. Свобода исследования, которую вы мне предписываете, не есть принуждение, а скорее потребность для меня. Малоопытный в пользовании школьными формами, я вряд ли подвергаюсь опасности прегрешить перед тонким вкусом злоупотреблением ими. Мои идеи, почерпнутые более из однообразного общения с самим собою, чем из богатого житейского опыта или из чтения, не станут отрекаться от своего происхождения и окажутся виновными в чем угодно, только не в сектанство; они скорее падут от собственной слабости, чем станут искать поддержки в авторитете и чужой силе.

Не скрою, правда, от вас, что нижеследующие утверждения покоятся главным образом на Кантовых принципах; однако если ход этих исследований напомнит вам какую-либо особую философскую школу, то припишите это моей неспособности, а не Кантовым положениям. Нет, свобода вашего духа пребудет для меня неприкосновенной. В вашем собственном ощущении почерпну я данные, на которых буду строить; ваша собственная свободная мысль будет предписывать законы, которыми мне надлежит руководствоваться.

Только философы не согласны относительно тех идей, которые господствуют в практической части системы Канта, люди же — я это мог бы доказать — всегда были одного мнения относительно них. Освободите эти идеи от их технической формы — и они явятся стародавними требованиями здравого рассудка и фактами нравственного инстинкта, который приставлен премудрой природой в качестве опекуна к человеку, пока ясное разумение не сделает его совершеннолетним. Но именно эта техническая форма, в которой истина является рассудку, в свою очередь скрывает ее от чувства; ибо, к сожалению, рассудок, если намерен овладеть объектом внутреннего чувства, должен сначала разрушить его. Подобно химику, философ тоже соединяет только путем разложения и только в муках искусства обретает творение свободной природы. Чтобы схватить преходящее явление, он должен сковать его узами закона, прекрасное тело расчленить на понятия и сохранить его живой дух в скудном словесном остоле. Что удивительного, если естественное чувство не узнает себя в таком изображении и истина в очаге аналитика окажется парадоксом?

Итак, явите и по отношению ко мне некоторую снисходительность, если

дальнейшие исследования удалят свой предмет от чувств ради того, чтобы приблизить его к рассудку. Что справедливо там применительно к нравственному опыту, то в еще большей мере справедливо применительно к красоте. Все ее волшебство покоится на тайне, и сущность ее исчезает вместе с необходимою связью элементов.

ПИСЬМО 2

Однако не мог ли я лучше воспользоваться свободой, которую вы мне предоставляете, чем сосредоточивая ваше внимание на сфере прекрасного? Пожалуй, не время теперь так заботиться о своде законов для эстетического мира, когда гораздо больший интерес представляют события мира морального и обстоятельства времени так настойчиво призывают философскую пытливость заняться самым совершенным из произведений искусства, а именно построением истинной политической свободы.

Я бы не желал жить в ином веке и работать для иного. Каждый человек — гражданин своего времени, так же как и гражданин своего государства; и если считается неприкрытым и даже недозволенным выделяться нравами и обычаями из того круга, в котором живешь, то не следует ли считать для себя столь же обязательным руководствоваться и выборе своей деятельности вкусом и потребностями своего века?

Вкус этот, однако, говорит как будто не в пользу искусства, по крайней мере того, на которое исключительно направлено мое исследование. Течение событий придало духу времени направление, которое все более и более угрожает удалением его от искусства идеала. Это искусство должно покинуть действительность и с достойной смелостью подняться над потребностью, ибо оно — дитя свободы и хочет получить предписание от духовных требований, а не от материальной потребности. Ныне же господствует потребность и подчиняет своему тираническому ярму падшее человечество. Польза является великим кумиром времени, которому должны служить все силы и покоряться все дарования. На этих грубых весах духовные заслуги искусства не имеют веса, и, лишённое поощрения, оно исчезает с шумного торжища века. Даже философский дух исследования отторгает у воображения одну область за другой, и границы искусства суживаются по мере того, как расширяет свои пределы наука.

Взоры философа и любого человека напряженно прикованы к политической арене, на которой, как правило, решается теперь великая судьба человечества. Не принимать участия в этом общем разговоре — не обнаружит ли это предосудительного равнодушия к благу общества? Этот великий спор о правах как по содержанию, так и по своим следствиям касается всякого, кто носит имя человека, особенно же самый способ ведения спора должен интересовать всякого, самостоятельно мыслящего. Вопрос, который прежде решался лишь слепым правом сильнейшего, как будто предложен теперь на разрешение суда чистого разума, и всякий, кто способен поставить себя в центр целого и свою личность слить с родом, может считать себя заседателем в этом суде разума; в то же самое время он, будучи человеком и гражданином мира, является и борющейся стороною, в большей или меньшей степени участвующей в решении спора. Итак, не только его собственное дело решается в этом великом судебном процессе, но процесс ведется по законам, которые человек как разумное существо сам может и сам вправе предписать.

Как привлекательно было бы для меня подвергнуть этот предмет исследованию совместно с столь же остроумным мыслителем, как и вольнолюбивым гражданином мира, и предоставить решение сердцу, которое с прекрасным энтузиазмом

посвящает себя благу человечества! Какой приятной неожиданностью было бы сойтись во мнениях на поле идей с вашим свободным от предрассудков умом при таком громадном различии положений и великом отдалении, неизбежном по условиям действительности! Если я не поддаюсь этому обольстительному соблазну и предпосылаю красоту свободе, то я надеюсь оправдать такое решение не только своею склонностью, но и принципами. Я надеюсь убедить вас, что этот предмет гораздо менее чужд потребностям времени, чем его вкусам, и более того — что для решения на опыте указанной политической проблемы нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет только через красоту. Но это доказательство не может быть дано без напоминания о тех основных началах, которыми вообще руководствуется разум в политическом законодательстве.

ПИСЬМО 3

Природа поступает с человеком не лучше, чем с остальными своими созданиями; она действует за него там, где он еще не в состоянии действовать как свободный интеллект. Но делает его человеком как раз то, что он не остается человеком, сделанным природой, а способен разумно проделать в обратном порядке те шаги, которые предвосхитила, ведя его, природа; он может пересоздать дело необходимости в дело свободного выбора и возвысить физическую необходимость в моральную.

Придя в себя из состояния чувственной красоты, он сознает себя человеком, озирается и видит себя — в государстве. Принужденный потребностями, он очутился там прежде, чем свободно мог избрать такое положение; нужда создала государство по простым законам природы ранее, чем он мог сделать то же самое по законам разума. Но человек как нравственная личность не мог и не может довольствоваться таким созданным нуждою государством, которое возникло только из его природного состояния и рассчитано только на это, — и горе ему, если б он мог довольствоваться этим! Итак, по тому же праву, по которому он зовется человеком, он отвергает господство слепой необходимости, подобно тому как он благодаря своей свободе отказывается от нее и во многих других случаях; так, — чтобы привести хоть один только пример, — он путем нравственности уничтожает и посредством красоты облагораживает низменный характер, налагаемый потребностью на половую любовь. Таким-то образом он искусственным путем в годы возмужалости наверстывает свое детство и, представляя себе идею естественного состояния, которое не дано ему ни в каком опыте, но которое необходимо в силу определений разума, создает себе в этом идеальном состоянии конечную цель, неизвестную ему и его действительном естественном состоянии, и делает выбор, на который он тогда не был способен, и поступает, как будто ему нужно начать сначала, как будто он по свободному решению и с полною сознательностью меняет состояние независимое на договорное состояние. Как ни искусно и твердо обосновал слепой произвол свою волю, как ни нагла самоуверенность, с которой он его защищает и окружает показной почтенностью, человек может оставить все это без внимания; ибо дело слепых сил не имеет авторитета, пред которым свободе приходилось бы преклоняться, и все должно подчиниться высшей конечной цели, которую разум провозгласил в лице человека. Таким способом возникает и находит оправдание попытка достигшего совершеннолетия народа превратить свое естественное государство в нравственное.

Это естественное государство (каким может называться всякое политическое тело, основывающее свое первоначальное устройство на силах, а не законах) противоречит моральному человеку, которому простая закономерность должна служить законом; но оно вполне соответствует физическому человеку, который

только для того дает себе законы, чтобы управиться с силами. Однако физический человек существует в действительности, моральный же только проблематично. Итак, уничтожая естественное государство,— а это ему необходимо сделать — разум рискует физическим и действующим человеком ради проблематичного нравственного, рискует существованием общества ради возможного (хотя в смысле моральном и необходимого) идеала общества. Разум отнимает у человека то, чем он действительно владеет и без чего ничем не владеет, и взамен этого указывает ему на нечто, чем он должен бы и мог бы владеть; и если бы расчет на человека оказался чрезмерным, то разум отнял бы у него ради его человеческой сущности, которой еще нет и которая без вреда для его существования может и отсутствовать, самые средства животного бытия, составляющего, однако, условие его человеческой сущности. Разум подрубил бы под его ногами лесенку природы прежде, чем человек успел бы найти по собственной воле опору в законе.

Итак, великое затруднение состоит в том, что во времени общество в физическом значении слова не должно прекращаться ни на один момент, между тем как в нравственном значении слова, в идее, оно только образуется, и нельзя же ради того, чтобы поднять достоинство человека, ставить на карту самое его существование. Когда часовщик исправляет часы, то он дает остановиться заводу часов, но живой механизм государства должно исправлять на ходу, нужно заменять колесо во время его вращения. Итак, нужно искать для продолжения общества опору, которая освободила бы его от естественного государства, подлежащего уничтожению.

Этой опоры не найти в естественном характере человека, который, будучи себялюбивым и склонным к насилию, скорее направлен на разрушение, чем на сохранение общества; ее не найти также и в его нравственном характере, который, согласно предпосылке, еще должен образоваться и на который законодатель не может влиять и рассчитывать с точностью, ибо этот характер свободен и никогда не проявляется. Следовало бы, значит, отделить от физического характера произвол, а от морального — свободу, следовало бы первый привести в согласие с законами, а второй сделать зависимым от впечатлений; следовало бы первый несколько удалить от материи, а второй несколько к ней приблизить, дабы создать характер третьего рода, родственной первым двум, который делал бы возможным переход от господства голых сил к господству законов и, не препятствуя развитию морального характера, служил бы чувственным залогом незримой нравственности.

ПИСЬМО 4

Несомненно одно: только тогда преобладание такого характера в народе может сделать безболезненным преобразование государства по моральным принципам и только такой характер может поручиться за долговечность этого преобразования. Когда создается моральное государство, тогда на нравственный закон рассчитывают, как на созидательную силу, и свободная воля вовлекается в мир причин, где все связано строгою необходимостью и постоянством. Мы знаем, однако, что определения человеческой воли всегда случайны и что только в абсолютном существе физическая необходимость совпадает с моральной. Итак, если на нравственное поведение человека рассчитывать, как на природные следствия, то в нем такая природа должна быть и собственные побуждения должны направить человека к такому образу действия, который может быть лишь следствием нравственного характера.

Но воля человека имеет совершенно свободный выбор между обязанностью и склонностью, и никакое физическое принуждение не должно вмешиваться в эту царственную прерогативу его личности. И если желательно, чтобы человек сохранил эту способность выбора и тем не менее остался положительным звеном в

причинной связи сил, то это может быть достигнуто лишь тем, что действия двух указанных пружин в мире явлений оказались бы тождественными и что содержание его воли, при всем различии в форме, оставалось бы тем же самым, то есть его побуждения были бы настолько согласны с его разумом, что могли бы стать всеобщим законом.

Можно сказать, что во всякой человеческой личности, по предрасположению и назначению, живет чистый идеальный человек, и великая задача бытия человека в том, чтобы при всех переменах согласоваться с его неизменным единством. Этот чистый человек, более или менее ясно проявляющийся в каждом субъекте, представлен в государстве — в этой объективной и как бы каноничной форме, чье разнообразие субъектов стремится к единению. Но можно себе представить два различных способа согласования человека во времени и человека в идее, а следовательно, и столько же способов осуществления государства в индивидах, а именно: или чистый человек подавит эмпирического, государство уничтожит индивидов, или же индивид станет государством, человек во времени облагородится и станет идеальным человеком.

Правда, в односторонней моральной оценке это различие отпадает, ибо разум лишь тогда удовлетворен, когда его закон господствует безусловно; но тем большее значение получает это различие в совершенной антропологической оценке, где наряду с формой принимается во внимание и содержание, а также имеет голос и живое ощущение. Правда, разум требует единства, природа же — разнообразия, а человек подчинен обоим законодательствам. Законодательство разума * запечатлено неподкупным сознанием, законодательство природы — неистребимым чувством. Если нравственный характер может получить силу лишь благодаря тому, что естественный принесен ему в жертву, то это всегда свидетельствует о недостаточности развития, и весьма несовершенно то государственное устройство, которое может добиться единства лишь принесением в жертву разнообразия. Государство должно уважать в личности не только объективный и родовой, но и субъективный и специфический характер, и, распространяя незримо господство нравственности, оно не должно опустошать царства явлений.

Ремесленник, обрабатывая бесформенный материал, не останавливается перед насилием над ним, чтобы придать ему форму соответственно его целям; ибо природа, которую он обрабатывает, сама по себе не заслуживает уважения, и он не заботится о целом ради частей, а напротив — о частях ради целого. Художник, приступая к обработке того же материала, также мало останавливается перед насилием над ним, он только избегает выставлять это насилие напоказ: материал, который он обрабатывает, он уважает столь же мало, сколь и ремесленник; он только постарается обмануть кажущейся уступчивостью глаз, который оберегает свободу этого материала. Совсем иное дело с художником-педагогом или политиком, который в одно и то же время в человеке видит как свой материал, так и свою задачу. Здесь цель возвращается к материалу, и только потому части могут подчиниться целому, что целое служит частям. Уважение, с которым политический мастер касается своего материала, должно быть совершенно иным, чем то, с которым художник относится к

* Я ссылаюсь здесь на недавно появившееся сочинение моего друга Фихте: “О назначении ученого”, где из настоящего положения читатель найдет чрезвычайно ясный вывод, которого на этом пути еще никто не искал.

своему материалу; первый должен щадить своеобразия и индивидуальность материала объективно и ради внутреннего существа, а не только субъективно и ради обманчивого впечатления чувства.

Но именно потому, что государство должно быть организацией, которая образуется сама по себе и сама для себя, оно может стать действительным, лишь поскольку части разовьются до идеи целого. Так как государство служит представителем чистой и объективной человеческой природы в сердцах своих граждан, то оно должно относиться к своим гражданам так, как они сами к себе относятся, и может уважать лишь в той мере их субъективную человечность, в какой она объективно обогатилась. Если внутренне человек согласен сам с собою, то он и при наибольшем обобщении своего поведения сохранит свое своеобразие, и государство станет лишь выразителем его добрых инстинктов, более ясной формулой его внутренней закономерности. Если же, напротив, в характере известного народа субъективный человек еще настолько противоречит объективному, что только подавлением первого можно доставить второму победу, то и государство выкажет по отношению к гражданам суровую строгость закона и, чтобы не стать жертвой их, должно будет без уважения раздавить враждебную индивидуальность.

Человек же двояким образом может быть противопоставлен себе: или как дикарь — когда его чувства господствуют над его правилами, или как варвар — когда его правила разрушают его чувства. Дикарь презирает искусство и признает природу за неограниченного владыку над собой; варвар презирает и бесчестит природу, но, более презренный, чем дикарь, он часто оказывается рабом своего раба. Образованный человек создает себе из природы друга и уважает ее свободу, обуздывая ее произвол.

Итак, разум, внося в физическое общество свое моральное единство, не должен оскорблять разнообразие природы. Природа же, желая сохранить разнообразие в моральном строении общества, не должна тем самым наносить ущерб моральному единству; победоносная форма одинаково далека как от однообразия, так и от беспорядка. Итак, цельность характера должна быть обретена в народе, который оказался бы достойным и способным променять государство нужды на государство свободы.

ПИСЬМО 5

Таков ли характер, обнаруживаемый нынешним веком и современными событиями? Сразу же обращаю свое внимание на самый выдающийся предмет в этой обширной картине.

Правда, мнение потеряло свое обаяние, произвол разоблачен, и хотя он еще и облечен властью, все же ему не удастся снискать себе уважения; человек пробудился от долгой беспечности и самообмана, и упорное большинство голосов требует восстановления своих неотъемлемых нрав. Однако он не только требует их. По эту и по ту сторону он считает, чтобы насильно взять то, в чем, по его мнению, ему несправедливо отказывают. Здание естественного государства колеблется, его прогнивший фундамент оседает, и, кажется, явилась физическая возможность возвести закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную свободу основой политического союза. Тщетная надежда! Недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение.

Человек отражается в своих поступках; какой же облик является в драме нынешнего времени? Здесь одичание, там расслабление: две крайности человеческого упадка, и обе соединены в одном промежутке времени!

В низших и более многочисленных классах мы встречаемся с грубыми и незаконными инстинктами, которые, будучи разнузданы ослаблением оков гражданского порядка, спешат с неукротимой яростью к животному удовлетворению.

Может быть, объективная сущность человека и имела основание к жалобам на государство, но субъективная должна уважать его учреждения. Разве можно порицать государство за то, что оно пренебрегло достоинством человеческой природы, когда нужно было защитить самое существование ее; что государство поторопилось разъединять, пользуясь силой тяготения, и соединять при помощи силы сцепления, когда нельзя еще было думать об образовательной силе? В разложении государства заключено его оправдание. Разнузданное общество, вместо того чтобы стремиться вверх к органической жизни, катится обратно в царство стихийных сил.

С другой стороны, цивилизованные классы представляют нам еще более отвратительное зрелище расслабления и порчи характера, которые возмутительны тем более, что источником их является сама культура. Я не помню, какой древний или новый философ сделал замечание, что благороднейшее при разложении является отвратительнейшим; но справедливость этого замечания оправдывается и в области моральной. Дитя природы, сбросив оковы, становится неистовым, питомец искусства — становится негодяем. Просвещение рассудка, которым не без основания хвалятся высшие сословия, в общем столь мало облагораживает помыслы, что скорее оправдывает развращенность своими учениями. Мы отрекаемся от природы в ее законном поле действия, дабы испытать ее тиранию в нравственном, и, противодействуя ее влиянию, мы заимствуем в то же время у нее наши принципы. Притворная благопристойность наших нравов отказывает природе в простительном первенстве, дабы в нашей материалистической этике признать за природой решающий, последний голос. Эгоизм построил свою систему в лове самой утонченной общительности, и, не приобретя общительного сердца, мы испытываем все болезни и все невзгоды общества. Свободное свое суждение мы подчиняем его деспотическому мнению, наше чувство — его причудливым обычаям, нашу волю — его соблазнам и только лишь оберегаем свой произвол о священных прав общества. Сердце светского человека сохнет в гордом самодовольстве, между тем как грубому человеку природы еще доступна симпатия, и каждый словно стремится спасти только свои жалкие пожитки из разоренного пылающего города. Думают, что только при полном отречении от чувствительности можно избежать ее заблуждений, и насмешки, которые часто целительно бичуют мечтателя, так же мало щадят благороднейшее чувство, выставляя его на поругание. Культура не только не освобождает нас, но, напротив, со всякой новой силой, в нас образуемой, развивает и новые потребности; узы физического стискивают нас все страшнее, так что боязнь потери заглушает даже пламенное стремление к совершенствованию, и правило пассивного повиновения получает значение высочайшей жизненной мудрости. Итак, дух времени колеблется между извращенностью и дикостью; между тем, что противоестественно, и тем, что только естественно; между суеверием и моральным неверием, и только равновесие зла иногда ставит ему границы.

ПИСЬМО 6

Но, может быть, я изобразил зло нашего века преувеличенно? Этого упрека я не ожидаю, а скорее другого: что я тем самым доказал слишком многое. Вы скажете, что эта картина имеет сходство с нынешним человечеством, но она применима вообще ко всем народам, охваченным культурой. Все они без исключения благодаря мудрствованию отпадают от природы прежде, чем разум вернет их к ней.

Однако при некотором внимании к характеру времени нас должен поразить контраст между теперешней формой человечности и прежней, в особенности греческой. Слава образованности и утонченности, которую мы по справедливости гордимся, сопоставляя ее с природной простотой, исчезает в сравнении с природой греков, где сочетались все прелести искусства со всем достоинством мудрости и которая не стала при этом их жертвой, как это случилось с нами. Греки не только

посрамляют нас простотой, чуждой нашему веку: они в то же время наши соперники, часто даже наши образцы, именно в тех качествах, в которых мы находим утешение, глядя на противоестественность наших нравов. Обладая равно полнотой формы и полнотой содержания, равно мыслители и художники, равно нежные и энергичные,— вот они пред нами, объединяющие в чудной человечности юность воображения и зрелость разума.

В те времена, при том прекрасном пробуждении духовных сил, чувства и ум еще не владели строго разграниченными областями; ибо раздор не озлобил еще их и не заставил враждебно размежеваться и определить взаимные границы. Поэзия еще не блудила с остроумием, и умозрение еще не опозорило себя хитросплетениями. Они могли в случае нужды обмениваться обязанностями, ибо каждый из них по-своему • чтит истину. Как высоко ни подымался разум, он любовно возвышал до себя материю, и как тонко и остро он ни разделял, он никогда не калечил. Он расчленял человеческую природу и, возвеличив, распределял по сонму прекрасных богов, но разум не разрывал человеческой природы на части, а лишь только различным образом перемешивал их, так что в каждом боге присутствовало все человечество. Совсем другое дело у нас, современных людей! И у нас образ рода в увеличенном виде расчленен в индивидах,— но в ряде беспорядочных отрывков, а не в видоизмененных сочетаниях, так что представление о цельности рода можно составить, лишь поприща” ряд отдельных индивидов. Можно, мне кажется, утверждать, что в опыте у нас духовные силы проявляются в таком же разобщении, в каком представляет их психолог, и мы не только видим отдельных субъектов, но и целые классы людей, в коих развита только часть их способностей, а другие способности, словно в захиревших растениях, можно найти лишь и виде слабого намека.

Я не упускаю из виду преимуществ, которые нынешнее поколение, рассматриваемое как единое целое, имеет на весах рассудка пред лучшим, что дано прошлым; однако сомкнутыми рядами оно должно начать состязание, и целое должно померяться с целым. Кто же из новых выступит вперед, дабы сразиться один на один за приз человечества с отдельным афинянином?

Откуда же это невыгодное отношение индивидов при выгодах целого рода? Почему каждый отдельный грек мог служить представителем своего времени, а отдельный современный человек не отважится на это?

Потому что тем придавала формы всеобъединяющая природа, а этим — всеразъединяющий рассудок.

Сама культура нанесла новому человечеству эту рану. Как только сделалось необходимым благодаря расширившемуся опыту и более определенному мышлению, с одной стороны, более отчетливое разделение наук, а с другой — усложнившийся государственный механизм потребовал более строгого разделения сословий и занятий,— тотчас порвался и внутренний союз человеческой природы, и пагубный раздор раздвоил ее гармонические силы. Рассудки интуитивный и умозрительный, настроенные теперь враждебно, разграничили поле своей деятельности и стали подозрительно и ревниво оберегать свои границы, а вместе с ограничением сферы деятельности нашли в самих себе господина, который нередко подавлял все остальные способности; подобно тому как в одном случае избыточное воображение опустошает кропотливые насаждения рассудка, так в другом — дух абстракции пожирает то пламя, около которого могло бы согреться сердце и воспламениться фантазия.

Это расстройство, которое внесли во внутренний мир человека искусство и ученость, стало благодаря новому духу правления полным и всеобщим. Конечно, нельзя было ожидать, что простота организации первых республик переживет простоту их нравов и отношений; однако, вместо того чтобы подняться до более

высокой органической жизни, она ниспала до простого и грубого механизма. Природа полипов, свойственная греческим государствам, где каждый индивид наслаждался независимой жизнью, а когда наступала необходимость, мог сливаться с целым, теперь уступила место искусному часовому механизму, в котором из соединения бесконечно многих, но безжизненных частей возникает в целом механическая жизнь. Теперь оказались разобщенными государство и церковь, законы и нравы; наслаждение отделилось от работы, средство от цели, усилие от награды. Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком; слыша вечно однообразный шум колеса, которое он приводит в движение, человек не способен развить гармонию своего существа, и, вместо того чтобы выразить человечность своей природы, он становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки. Однако и это скудное, отрывочное участие отдельных частей в целом не зависит от форм, которые они создают сами (ибо как можно доверить их свободе такой искусный и хрупкий механизм?), а предписывается им с мелочной строгостью формуляром, которым связывается их свободное разумение. Мертвая буква замещает живой рассудок, и развитая память служит лучшим руководителем, чем гений и чувство.

Можем ли мы удивляться пренебрежению, с которым относятся к прочим душевным способностям, если общество делает должность мерил человека, если оно чтит в одном из своих граждан лишь память, в другом лишь рассудок, способный к счету, в третьем лишь механическую ловкость; если оно здесь, оставаясь равнодушным к характеру, ищет лишь знания, а там, напротив, прощает величайшее омрачение рассудка ради духа порядка и законного образа действий; если оно к той же мере, в какой оно снисходительно к экстенсивности, стремится к грубой интенсивности этих отдельных умений субъекта,— удивительно ли, что все другие способности запускаются ради того, чтобы воспитать единственно ту способность, которая дает почести и награды? Конечно, мы знаем, что мощный гений не ограничивает круга своей деятельности профессией, но посредственный талант отдает тому занятию, которое досталось ему в удел, всю скудную сумму своей силы, "и только недюжинная голова может, без ущерба для своей профессии, предаваться любительским занятиям. Сверх того для государства всегда дурная рекомендация, если силы превышают данное поручение или если высшие духовные потребности талантливого человека соперничают с его должностью. Государство столь ревниво следит за тем, чтобы слуги его были его полной собственностью, что оно охотнее — и кто может в этом упрекнуть его? — согласится разделять своего служителя с Венерой-Кифереей, чем с Венерой-Уранией.

Таким-то образом постепенно уничтожается отдельная конкретная жизнь ради того, чтобы абстракция целого могла поддержать свое скудное существование, и государство вечно остается чуждым своим гражданам, ибо чувство нигде его не может найти. Правящая часть под конец совершенно теряет из виду разнообразие граждан, ибо она принуждена, ради удобства, классифицировать их и иметь дело с людьми только как с представителями, так сказать, получать их из вторых рук, то есть смешивать людей с чисто рассудочной стряпней; и управляемый не может не принимать с холодностью законы, которые так мало приспособлены к нему самому. В конце концов положительное общество, пресыщенное тем, что ему приходится поддерживать связь, которую государство нисколько ему не облегчает, распадается в природно-нравственное состояние (такова уже давно судьба большинства европейских государств), где властью является только одна партия ненавидимая и обманываемая теми, кто делает ее необходимой, и уважаемая лишь теми, кто может обойтись без нее.

Могло ли человечество пойти по иному пути, чем по тому, по которому оно в действительности пошло, если принять в расчет эту двойную силу, которая давила

на него снаружи и изнутри? Дух умозрения стремился в мире идей к вечным приобретениям, но в это время он стал чужаком в чувственном мире и потерял содержание ради формы. Дух практической деятельности, ограниченный однообразным кругом объектов, а в нем еще более ограниченный формулами, должен был потерять из виду свободное целое и оскудеть вместе со своей сферой. Подобно тому как дух умозрения подвержен искушению придать действительности формы мыслимого и субъективным условиям своей способности представления — значение конститутивных законов бытия предметов, так дух практики кидается в противоположную крайность, то есть оценивает всякий опыт по одному лишь отрывку опыта и стремится приспособить правила своей деятельности ко всякой деятельности без различия. Первый должен был стать жертвой пустой изошренности, второй — педантичной ограниченности, ибо первый слишком возвышался над единичным, второй же стоял ниже уровня целого. Но пред этого направления духа не ограничился сферой . 'пития и созидания, он был не менее заметен и на чувствах и действиях. Мы знаем, что степень восприимчивости духа зависит от живости, а объем — от богатства воображения. Но перевес аналитической способности по необходимости лишит воображение его силы и огня, а ее богатство пострадает от более ограниченной сферы объектов. Отвлеченный мыслитель потому обладает весьма часто холодным сердцем, что он расчленяет впечатления, которые способны тронуть душу только в их цельности. У практика очень часто узкое сердце, ибо его воображение, заключенное в однообразной сфере его занятия, не может приспособиться к чужому способу представления.

Мне нужно было, по пути моего исследования, раскрыть вредное направление современности и его источники, не указывая на те выгоды, которыми природа возмещает вред. Я охотно, однако, признаюсь вам, что род никаким иным путем не мог совершенствоваться, как ни должны были пострадать и индивиды при этом раздроблении их существа. Греческий образец человечества представлял собою, бесспорно, высшую точку развития, на которой человечество не могло удержаться и над которой оно не могло возвыситься. Не могло удержаться, ибо рассудок, с накопившимся запасом знаний, неизбежно должен был отделиться от восприятия и непосредственного созерцания и стремиться к ясности понимания; но человечество не могло и подняться выше, ибо только определенная степень ясности может сосуществовать с определенной полнотой и определенным теплом. Греки достигли этой ступени, и если б они желали подняться на высшую ступень, то им пришлось бы, как нам, отказаться от цельности своего существа и преследовать истину по разрозненным путям.

Не было другого средства к развитию разнообразных способностей человека, кроме их противопоставления. Этот антагонизм сил представляет собой великое орудие культуры, но только лишь орудие, ибо, пока антагонизм существует, человек находится лишь на пути к культуре. Только благодаря тому, что отдельные силы в человеке обособляются и присваивают себе исключительное право на законодательство, они впадают в противоречие с предметной истиной и заставляют здравый смысл, обыкновенно лениво довольствующийся лишь внешностью явления, проникать в глубину объектов. Тем, что чистый рассудок присваивает себе авторитет в мире чувств, а эмпирический стремится к тому, чтобы подчинить первый условиям опыта, обе способности развиваются до полной зрелости и исчерпывают весь круг своих сфер. Тем, что воображение осмеливается здесь произвольно расчленить мировой порядок, оно принуждает разум подняться к высшим источникам познания и призвать на помощь против воображения закон необходимости.

Вследствие одностороннего пользования силами индивид неизбежно придет к заблуждению, но род — к истине. Мы придаем этой единичной силе как бы крылья и

искусственно выводим ее далеко за пределы, которые как бы положены ей природою, только тем, что всю энергию своего духа сосредоточиваем в одном фокусе и стягиваем все наше существо в эту одну силу. Несомненно, что все человеческие индивиды в совокупности, со всей силою зрения, дарованного им природою, никогда не достигли бы того, чтобы выследить спутника Юпитера, которого открывает телескоп астронома; точно так же несомненно, что человеческая мысль никогда не представила бы анализа бесконечного или критики чистого разума без того, чтобы разум обособился в отдельных призванных к тому субъектах, отделился от всякой материи и самым упорным отвлечением обострил свой взор к восприятию безусловного. Но способен ли такой дух, как бы растворенный в чистом рассудке и в чистом созерцании, к замене строгих оков логики свободным полетом поэтического творчества и к точному и целомудренному восприятию индивидуального характера вещей? Здесь природа даже универсальному гению ставит границы, которых ему не перейти, а истина до тех пор будет иметь своих мучеников, пока философия будет усматривать свою благороднейшую задачу в том, чтобы искать способов избежать заблуждений. Сколько бы ни выигрывал мир, как целое, от этого раздельного развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что индивиды, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения создают, правда, атлетическое тело, но красота создается лишь свободною и равномерною игрою членов. Точно так же напряжение отдельных духовных сил может создавать выдающихся людей, но только равномерное их сочетание создает людей счастливых и совершенных. И в каком отношении находились бы мы к прошлым и будущим мировым эпохам, если бы развитие человеческой природы требовало подобной жертвы? Мы были бы рабами человечества, мы в течение нескольких тысячелетий несли бы ради него труд рабов, и на пашей исковерканной природе запечатлелись бы постыдные следы этого рабства,— дабы позднейшие поколения могли в блаженной праздности заботиться о своем нравственном здоровье и могла свободно расти и развиваться человеческая природа!

Неужели же, однако, назначение человека состоит в том, чтобы ради известной цели пренебречь самим собою? Неужели же природа ради своих целей отнимает у нас совершенство, которое предписывается нам целями разума? Итак, неверно, что развитие отдельных сил должно влечь за собой пожертвование целостностью; или же, сколько бы законы природы к этому ни стремились, все же в нашей власти при помощи искусства еще более высокого должно находиться восстановление этой, уничтоженной искусством, целостности нашей природы.

ПИСЬМО 7

Может быть, от государства должно ждать такого действия? Это невозможно, ибо государство, как оно ныне устроено, само вызвало это зло, и государство, как оно представляется в идее разумом, должно само быть основано на этом лучшем существе человека, вместо того чтобы способствовать его созиданию. И вот мои исследования вновь привели меня к той точке, от которой они меня на время отдалили. Нынешнее время, очень далекое от того, чтобы дать нам ту форму человечности, необходимость коей, как условия морального совершенствования государства, показана нами, скорее представляет нам прямую противоположность. Итак, если выставленные мною положения правильны и опыт подтверждает нарисованную мною картину современности, то всякую попытку такого изменения государства нужно будет доколе объявить несвоевременною и всякую основанную на этом надежду — химеричною, доколе не будет уничтожено разделение внутри человека и развитие его природы не сделается достаточным для того, чтобы самой природе стать художником и тем гарантировать реальность политическому творению разума.

Природа предписывает нам в ее физическом творении тот путь, которого мы должны держаться в моральном. Борьба стихийных сил в низших организациях должна быть укрощена, для того чтобы природа могла возвыситься до благородного творчества физического человека. Точно так же борьба стихий в этической природе человека, столкновение слепых инстинктов должны успокоиться, грубая противоположность в нем должна прекратиться, прежде чем можно отважиться на покровительство разнообразию. С другой стороны, прежде чем подчинять разнообразие единству идеала, нужно, чтобы укрепилась самостоятельность характера и чтобы покорность чуждым деспотическим формам уступила место достойной свободе. Пока человек природы незаконно злоупотребляет произволом, ему нельзя даже показывать его свободу; нельзя лишать человека пользования произволом, пока он так мило пользуется своей свободой. Дарование свободных начал становится изменой относительно целого, если оно присоединяется к силе, находящейся еще в брожении, и усиливает тем самым природу, и без того чрезвычайно могущественную; закон согласия становится тиранией по отношению к индивиду, когда он соединяется с господствующим бессилием и физическим ограничением и таким путем уничтожает последнюю тлеющую искру самодеятельности и самобытности. Итак, характер времени сначала должен подняться из своего глубокого унижения, избавиться, с одной стороны, от слепого насилия природы, с другой — возвратиться к ее простоте, правде и полноте; задача — более чем на одно столетие. Между тем, я это охотно признаю, некоторые опыты¹ могут удалиться в частностях; но в целом это не улучшит положения, и противоречия поведения всегда будут свидетельством против единства правил. В других странах света начнут чтить человека в негре, а в Европе станут позорить его в мыслителе. Старые принципы останутся, они лишь будут носить покров времени, и философия одолжит свое имя порабощению, которое прежде прикрывалось авторитетом церкви. Испуганные свободой, которая в первых своих попытках всегда заявляет свою враждебность, здесь бросятся в объятия удобному рабству, там же, доведенные до отчаяния педантичною опекою, кинутся в дикую необузданность естественного состояния. Узурпация сошлется на слабость человеческой природы, мятеж — на достоинство ее, пока не вмешается великая властительница всех людских дел, слепая сила, и не разрешит кажущегося спора принципов грубым кулачным боем.

ПИСЬМО 8

Так неужели же философии следует малодушно и безнадежно удалиться с этого поприща? Должно ли быть предоставлено бесформенному случаю самое важное благо, в то время как господство форм распространяется во всех других направлениях? Должна ли вечно продолжаться борьба слепых сил в политическом мире, и неужели закон общежития никогда не победит враждебного себялюбия?

Отнюдь нет! Правда, разум не начнет непосредственной борьбы с этой грубой силой, которая противостоит его оружию, и так же мало появится самодеятельно на мрачной арене, как сын Сатурна в Илиаде. Но разум выберет из среды борцов достойнейшего, вооружит его, как Зевс своего внука, божественным оружием и его победоносной мощью вызовет великое решение.

Разум достиг всего, чего мог достичь, найдя закон и высказав его; выполнение закона принадлежит мужественной воле и живому чувству. Чтобы победить в борьбе с силами, сама истина ранее должна стать силою и выставить в мире явлений, в качестве своего поверенного, побуждение, ибо побуждения — единственные движущие силы в мире чувств. Если истина до сих пор еще так мало доказала свою победоносную силу, то это зависит не от рассудка, который не сумел снять с нее покрывало, но от сердца, которое затворялось пред нею, и от побуждения, которое не действовало в ее интересах.

Ибо как объяснить столь всеобщее господство предрассудков и это омрачение умов при свете, который был возжжен философией и опытом? Век достаточно просвещен, то есть знания найдены и провозглашены к всеобщему сведению в количестве, достаточном для того, чтобы исправить по крайней мере наши практические основоположения. Дух свободного исследования рассеял пустые призраки, которые долгое время заслоняли доступ к истине, и основа, на которой фанатизм и обман воздвигли себе трон, подорвана. Разум очистился от обманов чувств и от лживой софистики, и сама философия, которая сначала заставила нас отпасть от природы, теперь громко и настойчиво призывает нас в ее лоно,— отчего же мы все еще варвары?

Итак, если причина не в вещах, то должно быть нечто в душах человеческих, что препятствует восприятию истины, как бы сильно она ни светила, и признанию ее, сколь бы ни была она убедительной. Один древний мудрец это почувствовал и скрыл это в многозначительном изречении: *sapere aude* (осмеливайся думать). Найди в себе смелость стать мудрецом. Необходима энергия в мужестве, чтобы преодолеть преграды, которые противопоставляются приобретению знания как природною ленью, и трусостью сердца. Древний миф, заставляющий и чпню мудрости возникнуть в полном вооружении из головы Юпитера, имеет глубокий смысл; ибо первое же действие ее имеет воинственный характер. Уже при самом рождении она должна вынести тяжелую борьбу с чувствами, которые не желают отказаться от сладкого покоя. Большинство людей слишком утомлено и изнурено борьбой с нуждой, чтобы собраться с силами для новой и более тяжелой борьбы с заблуждением. Довольный тем, что избавился от неприятной необходимости мыслить, человек предоставляет другим право опеки над своими понятиями, и если в нем заговорят более высокие потребности, то он с жадной верой хватается за формулы, заготовленные па этот случай государством и духовенством. Если эти несчастные люди заслуживают нашего сожаления, то мы по справедливости презираем других, которых благодетельная судьба освободила от ига нужды, собственный же выбор вновь поработил ей. Они предпочитают сумерки темных понятий, вызывающих живое чувство,— причем фантазия создает по собственному желанию удобные образы,— лучам истины, изгоняющим приятные призраки их сновидений. Они основали все здание своего благополучия именно на этих обманах, которые должны рассеяться пред враждебным светом познания, и им ли покупать столь дорогой ценою истину, которая начинается с того, что отнимает у них все, имеющее для них цену? Чтобы полюбить мудрость, им в принципе нужно быть уже мудрыми — истина, которую создал уже тот, кто дал философии ее имя.

Итак, всякое просвещение рассудка заслуживает уважения лишь постольку, поскольку оно отражается на характере, но оно в известном смысле и проистекает из характера, ибо путь к уму ведет через сердце. Следовательно, самая настоящая потребность времени — развитие способности чувствовать; и это не только потому, что оно служит средством к внедрению лучшего понимания жизни, но и потому, что оно само побуждает к лучшему пониманию.

ПИСЬМО 9

Но, может быть, здесь заколдованный круг? Теоретическая культура должна привести к практической, а практическая в то же время должна быть условием теоретической? Всякое улучшение в политической сфере должно исходить из облагораживания характера, но как же характеру облагородиться под влиянием варварского государственного строя? Ради этой цели нужно найти орудие, которого у государства нет, и открыть для этого источники, которые сохранили бы, при всей политической испорченности, свою чистоту и прозрачность.

Теперь я достиг той точки, к которой были направлены все мои предшествующие рассуждения. Это орудие — искусство, эти источники открываются в его

бессмертных образцах.

Наука и искусство отрешены от всего положительного и зависимого от человеческой условности и пользуются безусловной неприкосновенностью со стороны человеческого произвола. Политический законодатель может оцепить их область, но господствовать в ней он не может. Он может изгнать друзей истины, но истина превозможет; он может унижить художника, но искусства подделывать он не в состоянии. Правда, явление весьма обычное, что наука и искусство преклоняются пред духом времени и что критический вкус предписывает творческому законы. Где характер становится непреклонным и твердым, там наука строго оберегает свои границы и искусство движется в тяжких оковах правил; где, напротив, характер становится слабым и дряблым, там наука стремится к тому, чтобы понравиться, и искусство — к тому, чтобы доставить удовольствие.

В течение целых столетий философы и художники работают над тем, чтобы внедрить в низы человечества истину и красоту; первые гибнут, но истина и красота обнаруживаются победоносно со свойственной им несокрушимою жизненной силой.

Художник, конечно, дитя века, но горе ему, если он в то же время и воспитанник или даже баловень его. Пусть благодетельное божество своевременно отторгнет младенца от груди матери, дабы вскормить его молоком лучших времен, и даст дозреть до совершеннолетия под далеким греческим небом. И после того как он станет мужем, пусть он, в образе пришельца, вернется в свое столетие, но не для того, чтобы прельщать его своим появлением, по ради того, чтобы беспощадно, подобно сыну Агамемнона, очистить его. Содержание он, конечно, заимствует из современности, но форму — из более благородного времени; он возьмет ее и вне всякого времени из безусловного, неизменного единства своего существа. Здесь, из чистого эфира его демонической природы, льется источник красоты, не зараженной испорченностью поколений и времен, которые кружатся глубоко под ним в мутном водовороте. Его прихоть может опозорить содержание точно так же, как и облагородить, но целомудренная форма неподвластна ее игре. Римлянин первого столетия уже давно преклонил колени пред своими императорами, между тем как статуи богов еще стояли непреклонными. Храмы еще были священны для глаз, когда боги давно уже служили посмешищем, и благородный стиль зданий, дававший кров позорным деяниям Нерона и Коммода, посрамлял эти деяния. Человечество лишилось своего достоинства, но искусство спасло его и сохранило в полных значения камнях; истина продолжает жить в иллюзии, и по изображениям будет вновь восстановлен первообраз. Подобно тому как благородное искусство пережило благородную природу, точно так же оно предшествует ей в творческом и возбудительном вдохновении. Прежде чем истина успеет послать свой победный свет в глубины сердца, поэзия уже подхватила ее лучи, и вершины человечества уже будут сиять, в то время как влажная ночь еще покрывает долины.

Но как уберечься художнику от порочности своего времени, окружающей его со всех сторон? Презрением к его суждениям. Пусть он смотрит вверх, па свое достоинство и закон, а не вниз — на счастье и потребность. Пусть будет одинаково свободным как от пустой деловитости, которая охотно накладывает свою печать на мимолетный момент, так и от нетерпеливой мечтательности, которая прилагает к тщедушным порождениям времени мерило безусловного; пусть он рассудку предоставит сферу действительности, в которой он свой; но сам он пусть стремится к рождению идеала из союза возможного с необходимым. Пусть он запечатлеет это в иллюзии и в правде, запечатлеет в игре своей фантазии и в серьезности своих созданий, пусть выразит во всех чувственных и духовных формах и молча бросит в бесконечное время.

Но не всякому, в душе которого горит этот идеал, дан творческий покой и великое терпение, дабы втиснуть идеал в молчаливый камень или вылить его в трезвое

слово и доверить верным рукам времени. Слишком неистовое, чтобы воспользоваться этим спокойным средством, божественное творческое стремление часто непосредственно бросается на современность и деятельную жизнь и стремится преобразовать бесформенное содержание морального мира. Несчастья человеческого рода настойчиво говорят чувствующему человеку, но еще настойчивее говорит его принижение; возгорается энтузиазм, и пламенное желание в сильных душах нетерпеливо стремится к деятельности. Однако спрашивал ли он себя о том, оскорблен ли его разум этими беспорядками нравственного мира, или же он”, скорее, причиняют страдания его самолюбию? Если он этого еще не знает, то познает по тому рвению, с которым он будет настаивать на определенных и ускоренных действиях. Чистое нравственное стремление направлено на безусловное, для него нет времени, и будущее для него становится настоящим, если оно по необходимости должно развиваться из настоящего. Для разума, не знающего границ, направление есть уже свершение, и путь уже пройден, раз на него вступили.

“Итак,— скажу я молодому другу истины и красоты, желающему узнать от меня, каким путем” ему найти удовлетворение благородному побуждению в его груди, которому противится современность,— дай миру, на который ты влияешь, направление к добру, и спокойный ритм времени принесет уже дальнейшее развитие. Это направление ты дал ему, если ты, поучая, возвышаешь его мышление к необходимому и вечному, если ты, в иной практической деятельности или художественном творчестве, превращаешь необходимое и вечное в предмете его побуждений. Здание бредней и произвола падет, оно должно пасть, оно уже пало, как только ты уверен в том, что оно пошатнулось; но оно должно поколебаться внутри самого человека, не только во внешних его обнаружениях. Воспитывай победную истину в стыдливой тиши своего духа и вынеси ее из себя в виде красоты, чтобы не только мысль преклонялась перед пей, но и чувства охватывали бы любовно ее явление. И чтобы не пришлось ей брать с действительности образец, который ты должен дать, не вступай в опасное знакомство с действительностью ранее, чем будешь уверен в идеальном содержании своего сердца. Живи со своим веком, но не будь его творением; служи своим современникам, но тем, в чем они нуждаются, а не тем, что они хвалят. Не разделяя с ними их вины, носи благородно и безропотно их наказания и свободно .склоняйся под игом, ибо им одинаково тягостно как переносить, так и быть лишенными его. Стойким мужеством, с которым ты отвергаешь их счастье, ты докажешь им, что не по своей трусости ты подчиняешься их страданиям. Представляй себе их такими, какими они должны быть, если ты желаешь на них влиять, не представляй себе их такими, какие они есть, если тебе придется действовать за них. Одобрения их ищи в их достоинстве, но счастья их ищи лишь в расчете на их недостатки; таким путем твое благородство пробудит их собственное, и цсптная но будет уничтожена их недостатками. Серьезность твоих правил отпугнет их от тебя, но в игре они способны еще перенести их. Вкус их целомудреннее их сердца, и здесь-то именно и должен ты схватить боязливое беглеца; ты напрасно будешь нападать на их правила, напрасно осуждать их действия, но на их праздности ты можешь еще испытать свою творческую руку. Изгони из их наслаждений произвол, легкомыслие, грубость, и таким путем ты незаметно изгонишь это из их действий и, наконец, из помышлений. Где бы ты ни встретился с ними, схвати их благородными, величественными и одухотворенными формами, огороди их отовсюду символами совершенного, пока, наконец, видимость не победит действительность и искусство — природу”.

ПИСЬМО 10

Итак, вы согласны со мной и убедились из содержания предшествующих моих писем, что _ человек может удалиться от своего назначения двумя противоположными путями, что наш век действительно пошел по двум ложным

путям и стал здесь жертвою грубости, там — изнеженности и извращенности. Красота должна вывести людей на истинный путь из этого двойного заблуждения. Но каким образом культура прекрасного может излечить одновременно от этих двух противоположных пороков и соединить в себе два противоречащие качества? Разве может она в дикаре сковать природу, а в варваре освободить ее? Разве может она одновременно и напрячь и ослабить, — а если она не в состоянии сделать того и другого, то как разумным образом можно ждать от нее столь великого следствия, как совершенство человеческой природы?

Правда, мы уже неоднократно слушали утверждение, что развитие чувства красоты утончает нравы, так что нет нужды в новом доказательстве этого. Принято ссылаться на повседневный опыт, показывающий, что с развитым вкусом обыкновенно сопряжены ясность ума, восприимчивость чувства, свободомыслие и даже достойное поведение, а с неразвитым вкусом обыкновенно связано противоположное. Ссылаются с достаточной уверенностью на пример культурнейшего из народов древности, в котором чувство красоты достигло наивысшего развития, а также на противоположный пример тех частью диких, частью варварских народов, которые платились за свою нечувствительность к красоте тем, что имели грубый или же суровый характер. Однако мыслящим людям иногда приходит в голову или отрицание самого факта, или же отрицание правомерности заключений, выводимых из него. Они представляют себе эту дикость, которую ставят и упрек необразованным народам, не столь ужасной и не столь выгодной ту утонченность, которую ставят в заслугу образованным. Уже в древности находились люди, которые не считали благодеянием художественную культуру и поэтому были очень склонны к тому, чтобы запретить доступ в их государство искусством воображения.

Ни о тех говорю я, которые только потому поносят граций, что никогда не были ими обласканы. Каким образом могли бы оценить тихую работу вкуса по отношению к внутреннему и внешнему человеку и не обратить внимания на существенные выгоды культа прекрасного те, которые не имеют иного мерила ценности, кроме потраченного труда и ощутительной пользы? Человек, не ценящий формы, презирает всякое изящество речи, видя в нем заискивание, всякое тонкое обращение, видя в нем притворство, всякую деликатность и великодушие в поведении, видя в них лишь преувеличение и аффектацию. Он не может простить любимцу граций, что тот может как душа общества занять всякий кружок, что в качестве делового человека он направит все умы сообразно своим целям, что как писатель он налагает отпечаток своего духовного облика на все свое столетие, между тем как первый, жертва усердия, не может, при всем своем знании, возбудить интерес, не может сдвинуть с места камня. Так как первый не может научиться у него гениальной тайне быть приятным, то ему не остается ничего иного, как только оплакивать извращенность человеческой природы, которая более преклоняется пред видимостью, чем пред сущностью.

Но раздаются и достопочтенные голоса, которые высказываются против влияния красоты и, основываясь на опыте, вооружены против нее страшными доводами. “Нельзя отрицать, — говорят они, — что прелести красоты в хороших руках могут вести к похвальным результатам; но также не противоречит ее сущности, что, попав в дурные руки, они произведут действие прямо противоположное и послужат на пользу заблуждению и неправде своею, захватывающей души, силой. Вкус обращает внимание всегда лишь на форму, а не на содержание; именно поэтому он придает духу опасное направление, заставляя его пренебрегать вообще всякою реальностью и приносить в жертву прелестному покрову истину и нравственность. Действительные различия предметов теряются, и одна видимость определяет их ценность. Сколько способных людей, — продолжают они, — отвлекаются от серьезной

и напряженной деятельности соблазнительною силою красоты или во всяком случае побуждаются заниматься ею лишь поверхностно! Сколько слабых умов только потому пришло в столкновение с гражданским строем, что фантазии поэтов угодно было создать мир, в котором все обстоит иначе, где приличия не связывают мнений, где искусственность не подчиняет себе природы! Какой опасной диалектикой овладели страсти с тех пор, как они красуются в блестящих красках в изображениях поэтов и обыкновенно одерживают верх в столкновении с законами и долгом! Какая польза обществу от того, что красота предписывает законы общению, которым прежде управляла истина, и что внешнее впечатление определяет почет, который должен был бы следовать лишь за заслугою. Правда, теперь расцвели все доблести, которые способны вызвать приятное впечатление внешности и придать цену в обществе, но зато господствует и полный разврат, и в ходу все пороки, которые уживаются с красивою оболочкою". Действительно, следует призадуматься над тем, что мы видим упадок человечества во все эпохи истории, в которые процветали искусства и господствовал вкус, и не можем привести ни одного примера, когда у народа высокая степень и большое распространение эстетической культуры шли бы рука об руку с политической свободою и гражданскою доблестью, когда красота нравов уживалась бы с добрыми нравами, а внешний лоск обращения — с истиною.

Пока Афины и Спарта сохраняли еще свою независимость и основою служило уважение перед законами их государственного устройства, до тех пор вкус еще был незрелым, искусство находилось еще в младенческом состоянии, и красота далеко не господствовала над душами. Правда, поэзия уже поднялась высоко, но только еще на крыльях гения, который, как известно, близко граничит с дикостью и представляет собой свет, мерцающий во тьме, и, следовательно, свидетельствует скорее против вкуса своего времени, чем за него. Когда же при Перикле и Александре наступил золотой век искусств и господство вкуса сделалось всеобщим, тогда исчезла сила и свобода Греции; красноречие исказило истину, а мудрость в устах Сократа стала казаться оскорбительной, равно как добродетель в жизни Фокиопа. Мы знаем, что римляне сначала должны были истощить свои силы в гражданских войнах и, лишенные мужества благодаря восточной роскоши, подчиниться игу счастливого тирана, прежде чем греческое искусство восторжествовало над суровостью их нрава. И у арабов занялась заря культуры не ранее, чем энергия их воинственного духа ослабла под скипетром Аббасидов. И в новой Италии не прежде появилось искусство, чем был расторгнут прекрасный Ломбардский союз, Флоренция подчинена Медичи и дух независимости во всех этих мужественных городах уступил место бесславной покорности. Почти излишне упоминать о примере новых народов, утонченность которых возрастала в той же мере, в какой исчезала самостоятельность. Куда бы мы ни обратили свой взор в мировое прошлое, мы всюду находим, что вкус и свобода бегут друг от друга и что красота основывает свое господство лишь па гибели героических доблестей.

И все-таки именно эта энергия характера, ценою которой обыкновенно покупается эстетическая культура, представляется наиболее действительной пружиной всего великого и прекрасного в человеке, и она не может быть заменена никаким другим преимуществом, как бы велико оно ни было. Итак, если руководиться только тем, чему предшествующий опыт научил относительно влияния красоты, то, конечно, нельзя найти достаточного поощрения к тому, чтобы развивать чувства, которые столь опасны истинной культуре человека; и мы охотнее, не взирая на опасность грубости и жестокости, откажемся от размягчающей силы красоты, чем, несмотря на все выгоды утонченности, отдадимся ее расслабляющему влиянию. Но, может быть, опыт не есть то судилище, пред которым может быть решен такой вопрос, как наш, и прежде чем придать значение свидетельству опыта, нужно поставить вне сомнения,

что это именно та самая красота, о которой мы говорим и против которой говорят эти примеры.

Это, однако, предполагает понятие красоты, коренящееся в ином источнике, чем опыт, ибо это понятие красоты должно определить, по праву ли именуется прекрасным то, что в опыте считается таковым.

Это чистое разумное понятие красоты — если только вообще может быть найдено такое понятие — должно искать путем отвлечения, и оно может быть выведено из возможности чувственно-разумной природы, ибо почерпнуть его из действительного факта нельзя, так как это понятие само определяет наше суждение относительно каждого действительного факта и руководит им; одним словом, красоту нужно понять как необходимое условие существования человечества. Итак, мы должны теперь подняться к чистому понятию человечности, и так как опыт указывает нам лишь единичные состояния единичных людей и никогда не показывает человечества, то нам приходится открыть безусловное, пребывающее в этих индивидуальных и преходящих проявлениях, и овладеть необходимыми условиями его бытия, отбросив все случайные ограничения. Правда, этот трансцендентальный путь отдалит нас на время от близкого нашему сердцу круга явлений и от живого присутствия предметов и заставит нас пребывать на голых полях отвлеченных понятий; однако мы ведь стремимся к твердому основанию познания, которого ничем нельзя поколебать, и кто недостаточно смел, чтобы перейти границы действительности, тот никогда не завоеует истины.

ПИСЬМО 11

Как бы высоко ни поднималась абстракция, она в конце концов приходит к двум основным понятиям, на которых она успокаивается и должна признать свои границы. Она отличает в человеке нечто устойчиво пребывающее и нечто непрерывно изменяющееся. Пребывающее называет она его личностью, изменяющееся — ее состоянием.

Личность и состояние — я и его определения, — которые мы мыслим в необходимом существе как одно и то же, в конечном представляются вечно раздельными. Личность пребывает, но состояния изменяются; однако сколько бы состояния ни менялись — личность пребывает. Мы переходим от покоя к деятельности, от страсти к равнодушию, от согласия к противоречию, однако мы всегда остаемся самими собою, и то пребывает, что непосредственно из нас вытекает. Только в безусловном субъекте вместе с личностью пребывают и все ее определения, ибо они вытекают из личности. Все, чем божество является, существует в нем потому, что оно существует, следовательно, все в нем вечно, ибо оно само вечно.

В человеке же, как конечном существе, личность и состояние различны; поэтому ни состояние не может быть обосновано личностью, ни личность состоянием; в последнем случае личность должна бы стать изменчивою; в первом — состояние стать пребывающим, то есть и в том и в другом случае должна погибнуть личность или конечность. Мы не потому существуем, что мыслим, стремимся, ощущаем; нет, мы мыслим, стремимся, ощущаем потому, что существуем. Мы существуем потому, что существуем; мы ощущаем, мыслим и стремимся, потому что помимо нас существует еще нечто иное.

Личность должна в себе самом иметь основание, ибо пребывающее не может проистекать из изменения; итак, мы, во-первых, нашли идею абсолютного, на себе самом основанного бытия, то есть идею свободы. Состояние должно иметь основание; оно не заключено в личности, поэтому не абсолютно и должно вытекать из чего-либо. И вот мы нашли, во-вторых, условие всякого зависимого бытия или становления, то есть время. “Время есть условие всякого становления” — это тавтология, ибо этим положением не сказано ничего иного, как только то, что “смена

есть условие всякого чередования”.

Личность, открывающаяся лишь в вечно пребывающем я, и только в нем, не может становиться, не может начинаться во времени, ибо, напротив, время должно начаться в ней, так как в основе изменяющегося должно находиться и нечто пребывающее. Нечто должно изменяться, если вообще изменению положено быть; это нечто поэтому само не может быть уже изменением. Когда мы говорим: “цветок расцветает и увядает”, мы в это время делаем цветок пребывающим и изменением, мы как бы придаем цветку личность, в которой и совершается обнаружение двух указанных состояний. Возражение, что человек сперва становится,— не имеет силы, ибо человек не только личность вообще, но личность, находящаяся в определенном состоянии; а всякое состояние, всякое определенное бытие возникает во времени, поэтому человек как феномен должен иметь возникновение, хотя чистый интеллект в нем вечен. Без времени, то есть без возникновения, он никогда не стал бы определенным существом; его личность существовала бы в предрасположении, но никогда не стала бы действительной. Только благодаря смене своих представлений пребывающее я становится явлением для самого себя.

Материю действия или реальность, почерпаемую высшим интеллектом из самого себя, человек должен получить, и получает он ее путем восприятия, как нечто находящееся вне его в пространстве и как нечто изменяющееся в нем во времени. Его вечно неизменное я сопровождает это изменяющееся в нем содержание, и предписание, ему данное разумною его природою, состоит в том, чтобы постоянно оставаться самим собою, несмотря на все изменения, чтобы все восприятия превратить в опыт, то есть привести к единству познания, чтобы сделать каждый из способов проявления во времени законом для всех времен. Он существует только благодаря тому, что изменяется, он существует лишь потому, что остается неизменным. Итак, человек, представляемый как нечто законченное, был бы пребывающим единством, которое остается в волнах изменения вечно тем же самым.

Хотя бесконечное существо, божество, не может становиться, но все же следует назвать божественным и то стремление, которое, будучи важнейшим отличительным признаком божества, имеет своей бесконечной задачей безусловное провозглашение полноты бытия (действительности всего возможного) и безусловное единство являющегося (необходимость всего действительного). Человек без всякого сомнения в своей личности носит задатки божественности. Путь к божеству — если только можно назвать путем то, что никогда не приводит к цели, — дан человеку в его ощущениях.

Его личность, рассматриваемая сама по себе, независимо от всякой чувственной материальности, представляет собой лишь предрасположение к возможному бесконечному обнаружению, и пока она не созерцает и не ощущает, она есть лишь форма и пустая способность. Его чувственная природа, рассматриваемая сама по себе, без всякого отношения к самодеятельности духа, может сделать дух, который без ощущений представляет собою лишь форму, материей, но отнюдь не в состоянии соединить материю с ним. Пока человек только ощущает, только стремится и действует вследствие желания, до тех пор он представляет собою только мир, если под этим именем разуметь лишь бесформенное содержание времени. Правда, только его чувственная природа делает его способным к деятельной силе, но только личность придает его действиям характер его деятельности. Итак, человек должен придать материи форму, чтобы не быть только миром; для того чтобы не быть только формою, он должен придать предрасположению, находящемуся в нем, действительность. Он осуществляет форму, создавая время и противопоставляя пребывающему изменению, вечному единству своего я — многообразию мира; он облачает материю в форму, уничтожая

время, утверждая пребывающее в изменении и подчиняя многообразие мира единству своего я.

Отсюда проистекают два противоположных требования, обращенных к человеку, два основных закона разумно-чувственной природы. Первое требует абсолютной реальности; человек должен осуществить все, что есть лишь простая форма, он должен обнаружить все свои способности в явлении. Второе требует безусловной формальности: человек должен уничтожить в себе все, что представляет собой только мир, и должен внести согласие во все свои изменения; другими словами, он должен обнаружить все внутреннее и всему внешнему придать форму. Обе задачи, представленные в полнейшем их осуществлении, ведут обратно к понятию божества, от которого я исходил.

ПИСЬМО 12

Две противоположных силы, побуждающие нас к обнаружению своего объекта и потому могущие быть весьма уместно названы побуждениями, заставляют нас приступить к осуществлению этой двойной задачи, то есть сделать необходимое в нас действительным и действительное вне нас подчинить закону необходимости. Первое побуждение, которое я назову чувственным, исходит из физического бытия человека или из его чувственной природы; оно занято тем, чтобы поместить человека в границы времени и сделать его содержанием (материей), а не тем, чтобы дать ему содержание, ибо для этого необходима уже свободная деятельность лица, которое воспринимает содержание и отличает его от себя, как чего-то пребывающего. Содержанием (материей) здесь называется не что иное, как изменение или реальность, заполняющая время; итак, это побуждение требует, чтобы изменение было, чтобы время имело содержание. Это состояние заполненного времени называется ощущением, и только им одним обнаруживается физическое бытие.

Так как все сущее во времени чередуется, то бытие одного исключает все остальное. Когда извлекаешь звук из инструмента, то из всех звуков, которые могли бы быть получены, только этот один действителен; когда человек ощущает окружающее его, то бесконечная возможность определений ограничена только этим одним родом бытия. Где действует исключительно это побуждение, там, по необходимости, дано величайшее ограничение, человек в этом состоянии не что иное, как количественная единица, заполненный момент времени - или лучше — его нет; ибо его личность до тех пор отсутствует, пока над ним господствует ощущение и его увлекает с собою время*.

Область этого побуждения простирается настолько, насколько человек конечен, и так как форма проявляется всегда в материи, абсолютное же только через среду ограничений, то в конце концов с чувственными побуждениями связано все явление человечности. Однако, хотя только оно пробуждает и развивает человеческие задатки, все же оно одно делает невозможным совершенство человечности. Неразрывными узами привязывает оно к чувственному миру стремящийся ввысь дух и зовет абстракцию обратно к границам действительности, из самого свободного ее странствования в бесконечность. Мысль, правда, может на мгновение ускользнуть от чувственного побуждения, твердая воля — победоносно противиться его требованиям, но подавленная природа скоро вновь вступает в свои права, дабы настоять на реальности бытия, на содержании наших познаний и на цели нашей деятельности.

Другое побуждение, которое можно назвать побуждением к форме, исходит из абсолютного бытия человека или из его разумной природы и стремится освободить его, внести гармонию в разнообразие его явлений и сохранить его личность при всей изменчивости состояний. Так как личность, как абсолютное и неделимое

* Человеческая речь обозначает это состояние бессознательности, когда личность подавлена господствующим ощущением, весьма метким выражением: быть вне себя, то есть быть вне своего я. Хотя это выражение применяется лишь в тех случаях, когда ощущение переходит в аффект и это состояние становится благодаря большей его продолжительности более заметным, все-таки всякий находится “вне себя”, пока он только ощущает. Точно так же правильно выражение “прийти в себя”, обозначающее состояние возвращающейся рассудительности; это выражение означает возвращение в свое я, восстановление своей личности. О человеке, находящемся в обмороке, не говорят: “он вне себя”, а лишь “он без памяти” (без себя); то есть он лишился своего я, так как это я не находится в нем. Поэтому очнувшийся от обморока “становится самим собою” — выражение, имеющее значение наряду с “прийти в себя”.

единство, не может противоречить себе, ибо мы вечно остаемся самими собою, то побуждение, заботящееся о сохранении личности, не может требовать ничего иного, как только того, что оно вечно должно требовать: оно решает навсегда, когда решает теперь, и оно повелевает теперь то, что повелело навсегда. Оно охватывает таким образом всю череду времени, то есть оно уничтожает время, уничтожает изменение; оно хочет, чтобы действительное было необходимым и вечным и чтобы ночное и необходимое было действительным; иными словами: оно требует истины и права.

Если первое побуждение лишь создает случаи, то второе дает законы,— законы для всякого суждения, имеющего в виду познание, законы для всякой волн, имеющей в виду действия. Допустим, что мы познаем предмет, что мы придаем состоянию нашего субъекта объективную ценность, или же что мы действуем, руководствуясь познаниями, то есть что мы объективное делаем основанием для определения нашего состояния,— в обоих случаях мы вырываем это состояние из подсудности времени и приписываем ему реальность для всех людей и всех времен, то есть приписываем ему необходимость и всеобщность. Чувство может лишь сказать: “Это истинно для этого субъекта и в этот момент”, а может явиться другой момент и другой субъект, который признает ложным утверждение настоящего ощущения. Но раз мысль скажет: “Это есть”,— то этим она решает на веки веков, и за истинность ее утверждения ручается сама личность, которая остается вечно неизменною. Склонность может только сказать: “Это хорошо для твоего индивида и для твоей теперешней потребности”, но изменение поглотит твой индивид и твою потребность, и то, к чему ты пламенно теперь стремишься, станет со временем предметом твоего отвращения. Но если нравственное чувство скажет: “Это должно быть”,—тогда оно решает па веки веков,— если ты исповедуешь истину, потому что это истина, и поступаешь справедливо, потому что это справедливо, тогда ты делаешь единичный случай законом для всех случаев и рассматриваешь один момент твоей жизни, как вечность.

Итак, когда господствует побуждение к форме и чистый объект действует в нас, тогда дано наибольшее распространение бытия, тогда исчезают все ограничения, тогда человек становится из количественной единицы, каковым его делает скудное чувство, идейной единицей, охватывающей собой все царство явлений. При этом процессе мы более уже не находимся во времени, а время, со всей его нескончаемой чередой, находится в нас. Мы уже более не индивиды, а род; нашими устами высказывается суждение всего духовного мира, и в нашем действии представлен выбор всех сердец.

ПИСЬМО 13

При первом взгляде кажется, что не существует большей противоположности, как та, которая заметна в тенденциях этих двух побуждений, ибо одно требует

изменения, в то время как другое настаивает на неизменности. И все-таки оба эти побуждения исчерпывают понятие человеческой природы, и просто немислимо понятие третьего основного побуждения, которое служило бы посредником между двумя другими. Каким же образом восстановим мы единство человеческой природы, которое кажется совершенно уничтоженным этой первичной и радикальной противоположностью?

Правда, тенденции этих побуждений противоречат друг Другу, но следует заметить, что противоречат не в одних и тех же объектах, а то, что не встречается друг с другом, не может и сталкиваться. Чувственное побуждение, правда, требует изменения, но оно не требует, чтобы это изменение простиралось и на личность и ее сферу, то есть не требует смены основоположений. Побуждение к форме требует единства и постоянства, по оно не желает закрепления состояния вместе с закреплением личности, то есть не желает тождественности ощущений. Итак, по природе эти побуждения не противоположны, и если они все же кажутся таковыми, то лишь там, где они свободно переступили границы природы, смешав сферы своей деятельности и не поняв своей сущности *. Задача культуры состоит в том, чтобы охранять эти сферы и оберегать границы каждого из двух побуждений; культура должна отдать справедливость обоим,— не только одному разумному побуждению в противовес чувственному, но и последнему в противовес первому. Итак, задача культуры двоякая: во-первых, охрана чувственности от захватов свободы, во-вторых, охрана личности от силы чувствований. Первого она достигает развитием способности чувствовать, а второго — развитием разума.

* Когда утверждают первичный, а следовательно и необходимый антагонизм обоих побуждений, тогда, конечно, не остается другого средства сохранить единство в человеке, как безусловное подчинение чувственного побуждения разумному. Но из этого может получиться лишь однообразие, а не гармония, и человек вовеки останется разделенным. Подчинение действительно должно иметь место, но быть обоюдным, ибо хотя несомненно, что ограничения никогда не могут обосновать абсолюта, то есть свобода не зависит от времени, однако столь же несомненно, что абсолюта сам по себе не может обосновать ограничения, что состояние во времени не может зависеть от свободы. Итак, оба начала соподчинены и координированы, то есть они состоят во взаимодействии: без формы нет материи, без материи нет формы. (Это понятие взаимодействия и все его значение превосходно разъяснено у Фихте в его “Основании всеобщего наукоучения”, Лейпциг, 1794.) Мы не знаем, конечно, того, как обстоит дело относительно личности в царстве идей, но мы наверное знаем, что она не может проявиться в царстве времени без того, чтобы впитать в себя материю. Итак, в этом мире материя имеет значение не только в подчинении форме, но и рядом с формой и независимо от нее. Таким образом насколько необходимо, чтобы чувство не имело решающего значения в области разума, столь же необходимо, чтобы и разум не имел притязаний решать что-либо в области чувства. Уже тем самым, что каждому отводят особую область, исключают из нее другое, и каждому полагают” границу, которую нельзя переступить без ущерба для обоих.

Трансцендентальной философии, главная задача которой есть освобождение формы от содержания и изображение необходимого очищенным от всего случайного, легко привыкнуть к тому, чтобы рассматривать все материальное лишь как препятствие, а чувственность, мешающую именно этой задаче, представлять себе стоящей в необходимом противоречии с разумом. Такая точка зрения не заключается в духе Кантовой системы, но она, может быть, соответствует буквальному ее пониманию. Так как мир есть протяженность во времени, есть

изменение, то совершенство способности, приводящей человека в связь с миром, должно состоять в наивозможно большей изменяемости и экстенсивности. Так как личность есть пребывающее в смене, то совершенство той способности, которая противодействует изменению, должно состоять в наивозможно большей самостоятельности и интенсивности. Чем более разовьется впечатлительность, чем она подвижнее, чем большую поверхность она будет обращать к явлениям, тем большую часть мира охватит человек, тем больше способностей разовьет он в себе. Человек поймет тем большую часть мира, тем больше форм создаст он вне себя, чем большей силой и глубиной будет обладать его личность, чем большую свободу приобретет его разум. Итак, его культура будет состоять в следующем: во-первых, доставить воспринимающей способности разнообразнейшие соприкосновения с миром, а в чувствах развить наибольшую пассивность; во-вторых, для определяющей способности приобрести наибольшую независимость от восприимчивости и развить возможно более активность разума. Человек лишь тогда достигнет высшей полноты бытия в соединении с высшей самостоятельностью и свободой, когда оба качества соединятся, и вместо того чтобы потеряться в мире, он впитает в себя мир со всей его бесконечностью явлений и подчинит единству своего разума.

Это отношение человек может изменить и в обратную сторону и благодаря этому двояким образом не исполнить своего назначения. Он может интенсивность, необходимую для деятельной" силы, израсходовать на страдательную, если материальное побуждение поглотит формальное, и таким образом воспринимающая способность превратится в определяющую; он может экстенсивность, принадлежащую страдательной силе, приписать деятельной, если формальное побуждение поглотит материальное, и воспринимающую способность подчинить определяющей. В первом случае он никогда не станет самим собою, во-втором — он никогда не станет ничем иным. Итак, в обоих случаях он не станет ни тем, ни другим, то есть будет нулем *.

Ибо когда чувственное побуждение становится определяющим, когда чувство становится законодателем и мир подчиняет себе личность, то мир в той же мере перестает быть объектом, в какой становится силою.

* Дурное влияние перевеса чувственности на наше мышление и деятельность легко заметно каждому, но не так легко наметить вредное влияние перевеса рассудочности на наше познание и деятельность, хотя он столь же часто встречается и имеет столь же важное значение. Да будет мне поэтому дозволено припомнить здесь, из большого количества сюда относящихся случаев, лишь два, которые выяснят вред мышления и воли, опережающих созерцание и ощущение.

Одна из важнейших причин медленного развития естествознания заключается у нас, очевидно, во всеобщей и неудержимой склонности к телеологическим суждениям, при конститутивном употреблении коих определяющая способность становится на место воспринимающей. Природа может приходить в весьма разнообразное и настойчивое соприкосновение с нашими органами, но все ее многообразие совершенно для нас потеряно, ибо мы не ищем в ней ничего иного, как только того, что сами в нее вложили; ибо мы не позволяем природе входить в нас против наших интересов и, наоборот, нетерпеливо стремимся нашим разумом, опережающим чувства, навстречу природе. И вот, когда раз в течение веков явится человек со спокойным, целомудренным и открытым чувством и поэтому натолкнется на множество явлений, которых мы благодаря нашему предубеждению не замечали, то вес мы очень удивляемся тому, что столько глаз при таком ясном свете ничего не замечали. Это слишком поспешное стремление к гармонии, когда не собраны еще отдельные звуки, составляющие ее, а насильственная узурпация, совершаемая

мышлением в сфере, не безусловно ему подчиненной, является причиной бесплодности стольких мыслящих умов в деятельности на пользу науки, и трудно сказать, что повредило более расширению наших познаний — чувственность ли, противящаяся форме, или же разум, не дожидющийся содержания.

Так же трудно определить, от чего более страдает и охладевает наша практическая филантропия: от горячности наших страстей или же от строгости наших правил, от эгоизма наших чувств или же от эгоизма нашего разума. Для того чтобы сделаться сострадательным, отзывчивым, быстрым на помощь человеку, необходимо соединение чувства и характера, подобно тому как необходимо совпадение восприимчивости ощущений с энергией рассудка для приобретения опыта. Пели мы лишены способности воспринимать в себя чужую природу точно и правильно, усваивать чужие положения, делать своими чужие чувства, то как мы можем быть справедливыми относительно других, хотя бы имели самые похвальные правила? Но эта способность в такой же мере подавляется воспитанием, которое мы получаем, а равно и тем, которое сами себе даем, в какой стремятся сломить силу страстей и укрепить характер правилами. Так как трудно остаться верным своим правилам при всей подвижности чувств, то берутся за более удобное средство, а именно укрепляют характер, притупляя чувства; ибо, конечно, неизмеримо легче жить в мире с обезоруженным противником, чем господствовать над храбрым и бодрым врагом. В этой операции главным образом и состоит так называемое формирование человека, притом в лучшем значении этого слова, когда имеется в виду выработка внутреннего, а не только внешнего человека. Сформированный таким образом человек, конечно, не будет и не покажется грубым по природе, но он в то же время будет своими принципами огражден от природных впечатлений, и человечность извне будет так же ему недоступна, как человечность изнутри.

Вреднейшее злоупотребление идеалом совершенства состоит в том, что при оценке других людей и в тех случаях, когда нужно за них заступиться, применяют этот идеал во всей его строгости,— это ведет к жестокости и холодности, противоположное — к мечтательности. Без сомнения, тот необычно легко смотрит на свои общественные обязанности, кто на место живого человека, просящего нашей помощи, в мыслях представляет человека идеального, который, по всей вероятности, может обойтись и без нашей помощи. Истинно прекрасный характер требует строгости по отношению к себе и мягкости по отношению к другим. В большинстве же случаев человек, снисходительный к другим, бывает снисходителен и к себе, а строгий к себе бывает строгим и по отношению к другим; самый презренный характер тот, который строг к другим и снисходителен к себе.

Когда человек есть только содержание времени, тогда его не существует, а следовательно у него нет и содержания. Вместе с личностью уничтожено и состояние,— ибо это соотносительные понятия,— так как смена требует пребывающего, а ограниченная реальность — безграничного. Когда побуждение к форме становится воспринимающим, то есть когда мышление опережает ощущение, когда личность ставит себя на место мира, тогда она в такой же мере перестает быть самостоятельной силою и субъектом, в какой ставит себя на место объекта, ибо пребывающее требует для своего обнаружения смены, а абсолютная реальность — ограничений. Когда человек только форма, тогда у него нет формы, и вместе с состоянием уничтожена и личность. Одним словом, только поскольку человек самостоятелен, постольку вне его существует реальность; только поскольку он восприимчив, постольку в нем есть и реальность и он является мыслящей силою.

Итак, оба побуждения нуждаются в ограничении и, поскольку они мыслятся как

энергия,—в разрядении; первое — чтобы оно не вмешивалось в область законодательства, второе — чтобы оно не проникло в область ощущений. Но разрядение чувственного побуждения отнюдь не должно быть следствием физической немощи и тупости ощущений, всегда заслуживающих лишь презрения; оно должно быть действием свободы, деятельностью личности, умеряющей чувственность моральной интенсивностью и дающей впечатлениям, посредством подчинения их себе, большую поверхность. взамен глубины. Характер должен определять границы темперамента, ибо чувства должны делать уступки только в пользу духовных сил. Разрядение формального побуждения также не должно быть следствием духовной немощи и дряблости мысли и воли, которые могут только унижить существо человека. Их славным источником должна быть полнота ощущений; сама чувственность должна защищать победоносную силу свою область и противодействовать насилию духа, к которому он, благодаря своей опережающей деятельности, весьма склонен. Одним словом, личность должна удерживать материальное побуждение, а восприимчивость или природа — побуждение к форме в свойственных им границах.

ПИСЬМО 14

Итак, мы пришли к понятию такого взаимодействия двух побуждений, при котором действие одного обосновывает и ограничивает действие другого, и каждое побуждение обнаруживается наиболее полно именно благодаря тому, что действует другое.

Это взаимоотношение двух побуждений представляет собою, правда, лишь задачу разума, которую человек в состоянии вполне решить только на высоте совершенства своего бытия. Это в истинном значении слова идея его человеческой природы, то есть нечто бесконечное, к чему он в смене времен может постепенно приближаться, никогда не достигая. “Он не должен стремиться к форме за счет своей реальности и не должен стремиться к реальности за счет формы, напротив того: безусловное бытие он должен искать в определенном, а определение бытия в бесконечном. Он должен противопоставить себя миру, ибо он есть личность, и он должен быть личностью, ибо ему противостоит мир. Он должен ощущать, ибо он сознает, и должен сознавать, ибо он ощущает”. Пока он исключает одно из этих двух побуждений или удовлетворяется одним после другого, до тех пор он не будет в состоянии познать, что он человек в полном значении этого слова, соответственно истинному значению этой идеи, ибо, пока он только ощущает, для него остается тайной его личность или безусловное бытие, а пока он только мыслит, для него будет тайною его существование во времени или его состояние. Но если бы были возможны случаи, когда он испытывает и то и другое вместе, то есть когда он сознает свою свободу и вместе с тем ощущает свое бытие, когда он одновременно чувствует себя материей и познает себя как дух,— в этих случаях, и только в них, он имел бы пред собою совершенный образ своей человеческой природы, и предмет, представивший пред ним этот образ, служил бы ему символом его осуществленного назначения, а следовательно (ибо это назначение достижимо лишь в совокупности всего времени), и изображением бесконечного.

Если предположить, что подобные случаи возможны в опыте, они вызовут в человеке новое побуждение, которое будет противоположно каждому из двух, рассматриваемому в отдельности, именно потому, что оба действуют в нем; поэтому-то оно и должно быть рассматриваемо как новое побуждение. Чувственное побуждение заботится о том, чтобы было изменение, чтобы время имело содержание, формальное побуждение заботится о том, чтобы время было уничтожено, чтобы изменения не было. Итак, то побуждение, в котором действуют оба в соединении, то есть (да будет мне дозволено называть это побуждение, прежде чем я смогу обосновать его название) побуждение к игре направлено к тому,

чтобы уничтожить время в самом времени, соединить становление с абсолютным бытием, изменение с тождеством.

Чувственное побуждение ищет ограничения, оно желает получить объект; побуждение к форме само ограничивает, оно само хочет создать свой объект; побуждение к игре направлено к тому, чтобы получить объект, но таким, каким бы оно его создало, и создать его таким, каким чувство его воспринимает.

Чувственное побуждение исключает из своего субъекта всякую самостоятельность и свободу, формальное побуждение исключает из своего субъекта всякую зависимость, всякую страдательность; но исключение свободы есть физическая необходимость, исключение страдательности есть моральная необходимость; итак, оба стремления понуждают дух: первое — путем законов природы, второе — путем законов разума. Таким образом побуждение к игре, в котором соединены оба побуждения, будет понуждать дух одновременно и физически и морально; оно, следовательно, даст человеку свободу как в физическом, так и в моральном отношении, ибо уничтожает всякую случайность и всякую зависимость. Когда мы страстно любим кого-либо, кто заслуживает нашего презрения, мы болезненно ощущаем оковы природы. Когда мы ненавидим кого-либо, кто заслуживает нашего уважения, тогда мы болезненно ощущаем оковы разума. Но когда он одновременно владеет и нашей склонностью и приобрел наше уважение, тогда исчезает принуждение чувства и принуждение разума, и мы начинаем его любить, то есть играть одновременно и нашей склонностью и нашим уважением.

Далее, чувственное побуждение понуждает нас физически, а формальное морально, но первое не определяет нашего формального, а второе—нашего материального склада, то есть остается совершенно случайным, будет ли совпадать наше совершенство с нашим счастьем, или наоборот. Итак, побуждение к игре, в котором они действуют оба в соединении, сделает одновременно случайными как формальную, так и материальную сторону нашего существа, как наше совершенство, так и наше счастье; оно уничтожит в обоих случайность, именно потому, что оно сделает случайными обе стороны и что вместе с необходимостью исчезает и случайность; таким образом в материю будет внесена форма, а в форму — реальность. В такой же мере, в какой побуждение к игре уничтожит в ощущениях и аффектах их динамическое влияние, оно приведет их к согласию с идеями разума, и в той же мере, в какой оно отнимет моральное понуждение у законов разума, оно примирит эти законы с интересами чувств.

ПИСЬМО 15

Я все более и более приближаюсь к цели, к которой веду вас по мало завлекательной тропинке. Но последуйте за мной еще несколько шагов, и тогда откроется более широкий горизонт и, может быть, веселый вид вознаградит за трудность пути.

Предмет чувственного побуждения, выраженный общим понятием, называется жизнью в самом обширном значении этого слова; это понятие, которое обозначает все материальное бытие и все непосредственно находящееся в распоряжении чувств. Предмет побуждения к форме, выраженный общим понятием, называется образом как в прямом, так и в переносном значении слова; это понятие, охватывающее все формальные свойства предметов и все отношения их к мышлению. Предмет побуждения к игре, представленный в общей схеме, может быть назван живым образом, понятием, служащим для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова называется красотой.

Этим объяснением, если бы оно было таковым, красота не распространяется на всю область живого и не заключается в пределы этой области. Глыба мрамора, будучи и оставаясь безжизненной, все же может стать благодаря работе

архитектора и скульптора живым образом. Человек, хотя он живет и имеет образ, все же еще тем самым не есть живой образ,— для этого необходимо, чтобы его образ имел жизнь, а его жизнь образ. Пока мы только думаем о его образе, он еще безжизнен, еще только абстракция; пока мы только чувствуем его жизнь, она еще лишена образа, она простое впечатление. Человек становится живым образом лишь тогда, когда его форма живет в нашем ощущении и его жизнь принимает форму в нашем рассудке, и это случается всякий раз, когда мы начинаем оценивать его как нечто прекрасное.

Но генезис красоты вовсе еще не объяснен тем, что мы в состоянии указать составные части, соединение которых создает красоту; для этого необходимо, чтобы мы поняли это соединение, не поддающееся исследованию, подобно всякому взаимодействию между конечным и бесконечным. Разум выводит из трансцендентальных оснований требование: между материальным и формальным побуждениями должна быть общность, то есть должно существовать побуждение к игре, ибо понятие человеческой сущности завершается только благодаря единству реальности и формы, случайности и необходимости, пассивности и свободы. Разум должен выставить это требование, потому что он по своему существу настаивает на законченности и на устранении всяких ограничений, а всякая исключительная деятельность одного или другого побуждения оставляет природу человека незаконченной и полагает в ней предел. Итак, как только разум провозгласил: должна быть человеческая природа,— он этим самым постановил закон: должна существовать красота. Опыт нам может сказать, существует ли красота, и мы будем это знать, как только опыт показал нам, существует ли человеческая природа. Но ни опыт, ни разум не могут нам показать, каким образом красота и человеческая природа возможны.

Мы знаем, что человек не исключительно материален и не исключительно духовен. Поэтому красота, как завершение существа человека, не может быть исключительно только жизнью, как это утверждали остроумные наблюдатели, слишком точно следовавшие указаниям опыта, а вкус настоящего времени именно в этом и желал бы видеть красоту; но красота не может быть исключительно образом, как это утверждали умозрительные мудрецы, слишком удалившиеся от указаний опыта, и философствующие художники, которые при объяснении красоты слишком точно следовали за потребностями искусства *.

* Бери в своих “Философских исследованиях относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном” приравнивает красоту просто жизни. Простому образу приравнивает красоту, насколько мне известно, всякий последователь догматической системы, который когда-либо излагал свое убеждение по этому предмету; из числа художников к догматикам относится Рафаэль Менгс в своих “Мыслях о вкусе в живописи”, не говоря уже о других. И в этой области, как во всех вообще, критическая философия показала новый путь сведения опыта к принципам и умозрения к опыту.

Красота есть общий объект обоих побуждений, то есть объект побуждения к игре. Это название вполне оправдывается словоупотреблением, которое обозначает названием игры все то, что не есть ни объективно, ни субъективно случайно, но в то же время не заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего принуждения. Так как дух во время созерцания красоты находится и счастливой середине между законом и потребностью, то он, именно потому, что имеет дело с обоими, не подчинен ни принуждению, ни закону. Как материальное, так и формальное побуждение настаивают на своих требованиях, так как первое имеет отношение к познанию действительности, второе же — к познанию необходимости предметов, так как во

время деятельности первое направлено на сохранение жизни, второе же на сохранение достоинства, а оба вместе, стало быть, на сохранение истины и совершенства. Но жизнь теряет свою ценность, когда вопрос идет о достоинстве, и долг более не понуждает, когда заговорила склонность; и дух свободнее и спокойнее воспринимает действительность предметов, материальную истинность, как только она встретится с формальной истиной, с законом необходимости; отвлечение его не утомляет более, когда может сопровождаться непосредственным созерцанием. Одним словом, все действительное теряет свою значительность, когда приходит в соприкосновение с идеями, ибо оно становится малым, и все необходимое перестает быть серьезным, ибо становится легким, как только оно встречается с ощущениями.

Однако,— давно желали вы возразить мне, — не принижается ли красота тем, что она приравнивается к игре и пустейшим предметам, которые всегда обозначались именем игры? Не противоречит ли понятию разума и достоинству красоты — которая ведь рассматривается как орудие культуры — ограничение красоты простою игрою, и не противоречит ли опытному понятию игры,— которое может существовать и после исключения всего, что касается вкуса,— ограничение игры одною лишь красотою?

Однако что же мы назовем простою игрою теперь, когда мы знаем, что из всех состояний человека именно игра и только игра делает его совершенным и сразу раскрывает его двойственную природу? То, что вы, по вашему представлению об этой вещи, называете ограничением, то я, по своему пониманию, которое я оправдал доказательствами, называю расширением. Поэтому я сказал бы совершенно обратно: в приятном, в добре, в совершенстве человек проявляет только свою серьезность, с красотою же он играет. Конечно, нам не следует в данном случае припоминать те игры, которые в ходу в действительной жизни и которые обыкновенно направлены на весьма материальные предметы, но мы тщетно стали бы искать в действительной жизни и ту красоту, о которой здесь идет речь. Встречающаяся в действительности красота вполне соответствует встречающемуся в действительной жизни побуждению к игре; однако идеал красоты, выставленный разумом, вместе с тем выставляет и идеал побуждения к игре, который человек должен иметь пред глазами во всех своих играх.

Не ошибается тот, кто станет искать идеал красоты какого-нибудь человека на том же пути, на каком он удовлетворяет свое побуждение к игре. Если греческие племена наслаждаются на Олимпийских играх бескровными состязаниями в силе, быстроте, ловкости и благородном соревновании талантов и если римский народ радуется смертельному бою умирающего гладиатора с его ливийским противником, то эта одна черта поясняет нам, что идеальные образы Венеры, Юноны, Аполлона мы должны искать не в Риме, а в Греции *. Но разум говорит: прекрасное не должно быть просто жизнью или одним лишь образом, прекрасное должно быть живым образом, другими словами — оно должно быть красотою, так как красота предписывает человеку двойной закон: безусловной (формальности и безусловной реальности. Итак, разум в одно и то же время говорит: человек должен только играть красотою и только красотою одною он должен играть.

И чтобы это, наконец, высказать раз навсегда,— человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Это положение в настоящую минуту, может быть, покажется — парадоксальным, но оно получит важное и глубокое значение, когда нам удастся серьезно применить его к понятиям долга и судьбы. На нем будет построено, я вам это обещаю, все здание эстетического искусства и еще более трудного искусства жить. Только науке покажется это положение неожиданным, но оно давно жило и действовало в искусстве и в чувствах греков, главнейших представителей искусства;

они лишь помещали на Олимпе то, что следовало выполнить на земле. Руководствуясь истиной этого положения, греки заставили исчезнуть с чела блаженных богов серьезность и заботу, которые покрывают морщинами ланиты смертных, равно и пустое наслаждение, которое делает гладким лицо, лишенное содержания: они освободили вечно довольных богов от оков каких-либо целей, обязанностей, забот, и в праздности и безразличии усматривали завидную

* Нетрудно будет различить оттенки вкуса различных народностей, если сравнить (оставаясь в пределах нового мира) лондонские скачки, бой быков в Мадриде, спектакли в былом Париже, гонки гондольеров в Юенепии, травлю зверей в Вене, веселое оживление римского Юэрсо. Однако народные игры в различных странах гораздо более разнообразны, чем игры образованных людей в этих же самых странах,— и это легко поддается объяснению.

божественную долю, которая представляется только более человеческим названием самой свободной и возвышенной жизни. В высоком понимании греков, сразу охватывающем оба мира, исчезло как материальное понуждение законов природы, так и духовное принуждение- нравственного закона в высшем понятии необходимости, и из единства этих двух необходимостей для них возникла истинная свобода. Воодушевленные таким духом, греки стерли с черт лица своего идеала вместе со склонностью и всякие следы воли, или, лучше сказать, они сделали их неразличимыми, так как сумели соединить их в теснейшем союзе. Прекрасное лицо Юноны Лудовизи не представляет нам ни прелести, ни достоинства; нет ни того, ни другого, потому что оба соединены в одно. Женщина-бог требует нашего поклонения, а божественная женщина воспламеняет нашу любовь, и в то время как мы совершенно покорены небесною миловидностью, нас отпугивает небесная самоудовлетворенность. Весь облик покоится и живет сам в себе, как будто пребывая вне пространства, не отдаваясь и не сопротивляясь, без силы, способной бороться с силою, без пробела, в который могло бы вторгнуться временное. Неудержимо захваченные и привлеченные одним и в то же время отдаляемые другим, мы находимся одновременно в состоянии наивысшего покоя и наивысшего движения, и таким образом создается то чудесное волнение, для которого рассудок не может подыскать понятия, а язык названия.

ПИСЬМО 16

Мы видели, что из взаимодействия двух противоположных побуждений и из соединения двух противоположных начал возникает прекрасное, высший идеал которого придется таким образом искать в возможно совершенном союзе и равновесии реальности и формы. Но это равновесие остается всегда лишь идеей, которая неосуществима в действительности. В действительности всегда один элемент будет перевешивать другой, и наибольшее, па что способен опыт, состоит в колебании между обоими началами,- причем перевес оказывается то на стороне реальности, то на стороне формы. Итак, красота в идее вечна, е дина и неделима, ибо может существовать только одно равновесие; напротив, красота в опыте вечно будет двойственною, ибо при колебании равновесие может быть нарушено двояким! образом, в обе стороны весов.

В одном из предшествующих писем я отметил, что красота может иметь смягчающее и напрягающее действие, — и это можно было” вывести с полной необходимостью из связи предшествующего: смягчающее — для того, чтобы удерживать в границах как чувственное, так и формальное побуждение; напрягающее — для того, чтобы поддерживать силу обоих стремлений. Но двоякое действие красоты согласно идее должно быть одним и тем же. Красота должна смягчать тем, что она обе природы равномерно напрягает, и должна напрягать тем,

что она обе природы равномерно смягчает. Это вытекает уже из понятия взаимодействия, в силу которого себе части по необходимости обуславливают друг друга и обусловлены друг другом, а красота является чистым их произведением. Но опыт не представляет нам примеры такого совершенного взаимодействия; в опыте всегда имеется большее и меньшее, и перевес всегда вызывает недостаток, а недостаток — перевес. То, что в идеально-прекрасном различается лишь в представлении, то в опытной красоте различено в бытии. Идеально прекрасное, будучи неделимым и единым, в различных отношениях обнаруживает смягчающие и энергичные качества; в опыте дана смягчающая и энергичная красота. Это так будет и есть во всех случаях, когда безусловное заключено в пределы времени и когда идеи разума должны осуществиться в человечестве. Так размышляющий человек представляем себе добродетель, истину, блаженство; но человек действующий станет обнаруживать только добродетели, схватывать только истины и наслаждаться только блаженными днями. Дело физического и морального образования состоит в том, чтобы поставить на место добрых нравов — нравственность, на место сведений — познание, на место счастья — блаженство, то есть чтобы свести вторые к первым; дело эстетического образования поставить красоту на место красот.

Энергичная красота так же мало может предохранить человека от некоторого остатка дикости и черствости, как смягчающая не обережет его от известной степени изнеженности и расслабления. Ибо так как действие первой состоит в напряжении духа в сфере физической и моральной и увеличении его стремительности, то слишком часто противодействие темперамента и характера уменьшает восприимчивость к впечатлениям и придавливает еще не окрепшую человечность, в то время как это принижение должно было коснуться лишь грубой природы; и грубая природа пользуется увеличением силы, которая была предназначена лишь свободной личности; поэтому-то во времена развития силы и пышности действительно великое в представлении часто встречается в связи с чудовищным и сказочным, а возвышенное в помышлении — в связи с ужасающими взрывами страсти; напротив того, во времена развития порядка и формы природа часто будет являться приниженной и покоренной и также часто оскорбленной и превзойденной. И так как действие смягчающей красоты на душу в сфере физической и моральной заключается в разрешении, то случается часто, что вместе с силою вожделий гложет и энергия чувства и что характер испытывает ту потерю силы, которая должна была коснуться одной только страсти; потому-то в так называемые утонченные эпохи нежность часто вырождается в изнеженность, изящество формы в пошлость, корректность в пустоту, либеральность в произвольность, легкость в фривольность, спокойствие в апатию, и презреннейшая карикатура часто встречается рядом с прелестнейшею человечностью. Смягчающая красота является таким образом потребностью для человека, находящегося под гнетом материи или форм, ибо величие и сила уже давно коснулись его, прежде чем он начал ощущать грацию и гармонию. Энергичная красота является потребностью для человека при снисходительности вкуса, ибо слишком легко он в эпоху утонченности пускает на ветер ту силу, которую перенял из состояния дикости.

Теперь, я полагаю, объяснено и открыто то противоречие, которое обыкновенно встречается в суждениях людей о влиянии красоты и о значении эстетической культуры. Это противоречие перестает быть таковым, как только мы вспомним, что в опыте встречается двоякая красота и что обе стороны утверждают относительно всего рода то, что может быть доказано лишь относительно каждого из двух видов. Это противоречие исчезает, как только различена двоякая потребность человеческой природы, которой соответствует эта двоякая красота. Итак, обе стороны, по всей вероятности, окажутся правыми, если только они условятся, какой

вид красоты и какую форму человеческой природы они имеют в виду.

В дальнейшем ходе моих исследований я буду держаться того пути, которым сама природа ведет человека, и подымусь от видов красоты к ее родовому понятию. Я исследую воздействие смягчающей красоты на напряженного человека и воздействие энергичной красоты на расслабленного, для того чтобы под конец примирить оба противоположных вида в единстве идеально прекрасного, подобно тому как эти две противоположные формы человеческой природы сливаются в единстве идеального человека.

ПИСЬМО 17

Пока дело шло лишь о том, чтобы вывести общую идею красоты из понятия человеческой природы, мы не должны были вспоминать других пределов последней, кроме тех, которые заключены в непосредственной ее сущности и неотделимы от понятия конечного. Не обращая внимания на случайные ограничения, зависящие от условий действительного явления, мы почерпали понятие красоты непосредственно из разума, как источника всякой необходимости, и вместе с идеалом человеческого существа нам был дан и идеал красоты.

Теперь же мы спустимся из области идей на арену действительности, чтобы встретить человека в некотором определенном состоянии, то есть при ограничениях, проистекающих не только из отвлеченного его понятия, но и из внешних обстоятельств и из случайного пользования его свободой. Но как бы многообразно ни была ограничена в нем идея его человеческой природы, все ж одно лишь содержание ее показывает нам, что могут быть только два противоположных вида отклонений от нее. Если совершенство человека заключается в согласной энергии его чувственных и духовных сил, то он может утратить это совершенство только путем недостатка согласия или же недостатка энергии. Даже не выслушав показаний опыта по этому вопросу, мы уже наперед, из одного разума, извлекаем уверенность, что найдем действительного, стало быть ограниченного, человека или в состоянии напряжения, или же в состоянии ослабления, смотря по тому, нарушает ли односторонняя деятельность отдельных сил гармонию его существа, или же единство его природы основывается на равномерном ослаблении его чувственных и духовных сил. Теперь мы докажем, что оба противоположных предела уничтожаются красотой, которая восстанавливает в напряженном человеке гармонию, а в ослабленном — энергию, и таким путем, сообразно природе красоты, приводит ограниченное состояние к безусловному и делает человека законченным в самом себе целым.

Итак, красота отнюдь не нарушает в действительности того понятия, которое мы составили себе о ней путем умозрения; только она в этом случае гораздо менее свободна в своей деятельности, чем в другом, в котором мы могли применить понятие красоты к чистому понятию человечности. В человеке, каким он является в опыте, красота встречает уже испорченный и противодействующий материал, который отнимает у нее ровно столько ее идеального совершенства, сколько он примешивает своих индивидуальных свойств. Поэтому в действительности красота всегда будет проявляться как отдельный и ограниченный вид и никогда — как чистый род. В напряженных душах она потеряет часть своей свободы и разнообразия, в ослабленных — часть своей живительной силы. Нас же теперь, когда мы ближе познакомились с ее истинным характером, это противоречивое явление не будет более путать. Мы не станем, подобно большинству оценщиков, выводить ее понятие из отдельных указаний опыта и не станем делать ее ответственной за недостатки, которые встречаются под ее влиянием в человеке; мы знаем, наоборот, что это сам человек переносит на красоту несовершенство своей индивидуальности, вечно благодаря субъективной ограниченности препятствует ей стать совершенной и принижает ее абсолютный идеал, обнаруживая его лишь в

двух ограниченных формах явления.

Смягчающая красота, как мы утверждали, соответствует напряженной душе, энергичная — ослабленной. Напряженным же я называю человека как в том случае, когда он находится”: под гнетом ощущений, так и в том, когда он находится, я под гнетом понятий. Каждое исключительное господство одного из двух его основных побуждений является для него состоянием угнетения и насилия; свобода заключается лишь в согласном действии его обеих натур. Таким образом односторонне подчиненный чувствам или чувственно напряженный человек освобождается и смягчается формой; односторонне подчиненный законам или духовно напряженный человек смягчается и освобождается материей. Итак, смягчаемая красота, дабы удовлетворить этой двойной задачей, явится в двух различных образах: она, во-первых, умиротворит спокойствием формы дикую жизнь и продолжит путь к переходу от ощущений к мышлению; во-вторых, как живой образ, она снабдит отвлеченную форму чувственной силою, она вновь обратит понятие к созерцанию и закон к чувству. Первую услугу окажет она человеку природы, вторую — человеку культуры. Но так как она в обоих случаях не вполне свободно владеет материалом, а зависит от того материала, который доставляется ей или бесформенной природою, или противоестественной искусственностью, то она в обоих случаях будет еще нести на себе следы своего происхождения и в первом случае более растворится в материальной жизни, во втором — в чистой отвлеченной форме.

Чтобы составить себе понятие о том, как красота может стать средством, уничтожающим эту двойную напряженность, мы должны попытаться исследовать ее источник в человеческой душе. Поэтому решитесь еще на краткую остановку в области умознания, чтобы потом покинуть ее навсегда и вступить с тем большею уверенностью на поле опыта.

ПИСЬМО 18

Чувственного человека красота ведет к форме и к мышлению, духовного человека красота направляет обратно к материи и возвращает чувственному миру.

Из этого, кажется, следует, что между материей и формой, между пассивностью и деятельностью должно быть среднее состояние и что красота приводит нас в это среднее состояние. И действительно, такое понятие о красоте составляет себе большинство людей, как только они начинают размышлять о ее влиянии, и все указания опыта приводят к этому. Но, с другой стороны, нет ничего более нелепого и более противоречивого, чем это понятие, так как расстояние между материей и формой, между пассивностью и деятельностью, между ощущением и мышлением — бесконечно и безусловно ничем не может быть сглажено. Каким же образом уничтожить это противоречие? Красота соединяет оба противоположные состояния ощущения и мышления, и все же между ними безусловно не может быть ничего среднего: первое удостоверено опытом, второе — разумом.

Вот коренная точка, к которой в конце концов сводится весь вопрос о красоте, и если нам удастся удовлетворительно разрешить эту проблему, то вместе с тем мы найдем нить, которая проведет нас через весь этот лабиринт эстетики.

Здесь, однако, необходимо обратить внимание на две весьма различных операции, которые при этом исследовании должны непременно содействовать друг другу. Во-первых, мы сказали, что красота соединяет два состояния, которые взаимно противоположны и не могут никогда объединиться. Из этого противопоставления мы и должны исходить: мы должны представить себе его и признать во всей его строгости и чистоте, и признать, что оба состояния разделены самым решительным образом; в противном случае мы будем смешивать, вместо того чтобы соединять. Во-вторых, мы сказали: красота соединяет эти два противоположных состояния и таким образом уничтожает противоположность. Но

так как оба состояния вечно остаются противоположными, то их нельзя иначе соединить, как уничтожив их. Итак, наша вторая задача будет состоять в том, чтобы сделать это соединение полным, провести его в такой чистоте и полноте, чтобы оба состояния совершенно исчезли в третьем и чтобы в целом не осталось никаких следов деления; в противном случае мы будем не соединять, а лишь отделять. Все споры о понятии красоты, когда-либо занимавшие философский мир и отчасти занимающие его до настоящего времени, происходили от того, что исследование начинали без достаточно строгого разграничения или не доводили его до вполне чистого объединения. То философы, которые, размышляя об этом предмете, слепо доверяются руководству чувства, не могут получить понятия о красоте, так как они в целостности чувственного впечатления не различают ничего единичного. Другие, которые руководствуются исключительно рассудком, не могут достичь понятия красоты, так как они не видят в целостности красоты ничего, кроме ее частей, и для них материя и дух, даже и в полном их объединении, остаются вечно разделенными. Первые боятся уничтожить красоту динамически, то есть уничтожить ее как творческую силу, если им придется разделять то, что все же соединено в чувстве; вторые боятся уничтожить красоту логически, то есть уничтожить ее как понятие, если им придется объединять то, что рассудок все же разделяет. Первые хотят мыслить красоту так, как она воздействует; вторые хотят заставить красоту воздействовать так, как она ими мыслится. Итак, обе стороны не могут найти истины: первые потому, что они своим ограниченным мышлением хотят подражать бесконечной природе, вторые потому, что хотят ограничить бесконечную природу своими законами мысли. Первые боятся слишком строгим расчленением лишиться красоты ее свободы, вторые - боятся уничтожить определенность ее понятия слишком смелым соединением. Однако первые забывают, что свобода, в которой они, по справедливости, видят сущность красоты, состоит не в беззаконности, а в гармонии законов, не в произволе, а в высшей внутренней необходимости; вторые забывают, что определенность, которой они с полным правом требуют от красоты, состоит не в выделении известной категории реальностей, но в безусловном включении всех их; забывают, что красота, следовательно, не есть ограничение, а бесконечность. Мы избежим подводных камней, на которых обе стороны потерпели крушение, если будем исходить из тех двух элементов, на которые красота распадается пред рассудком, и в то же время мы поднимемся к чистому эстетическому единству, в котором красота действует на чувство, и оба указанные состояния совершенно исчезают *.

* Приведенное сравнение, вероятно, навело внимательного читателя на мысль, что эстетики-сенсуалисты, которые более доверяют показаниям ощущений, чем рассуждению, в действительности гораздо менее удаляются от истины, чем их противники, хотя в глубине суждения они со вторыми не могут равняться. И это отношение всегда можно встретить при сравнении природы и науки. Природа (физическое чувство) всегда соединяет, рассудок всегда разделяет, но разум воссоединяет; поэтому человек, пока не начал философствовать, ближе к истине, чем философ, не закончивший своего исследования. Поэтому-то, без всякого рассмотрения, можно при-значь ложной ту философскую систему, результаты которой противоречат показаниям чувств всех людей; но с тем же правом можно считать подозрительной ту систему, которая по форме и методу согласна с общепринятыми показаниями чувств. Пусть последнее замечание утешит тех писателей, которые не преподносят философской дедукции с такою же легкостью, как разговор у камина, чего, как кажется, ждет кое-кто из читателей. Первое замечание должно заставить замолчать всякого, кто стал бы строить новую систему, противоречащую человеческому рассудку.

ПИСЬМО 19

Вообще говоря, в человеке можно различить два различных состояния пассивной и активной определенности и столько же состояний пассивной и активной определенности. Объяснение этого положения приведет нас к цели кратчайшим путем.

Состояние человеческого духа, предшествующее всякой определенности и зависящее от чувственных впечатлений, есть безграничная определенность. Бесконечное в пространстве и во времени предоставлено свободному пользованию его воображения, и так как согласно допущению в этом обширном царстве возможности ничто не установлено, то это состояние неопределенности можно назвать пустою бесконечностью, которую отнюдь не следует смешивать с бесконечной пустотой.

И вот, пусть его ощущение получит пищу, и пусть одно из бесконечного количества возможных определений станет действительностью. Пусть в нем возникнет представление. Тогда то, что в предшествовавшем состоянии простой определенности было лишь пустою способностью, становится действующей силой, получает содержание; но имеет с тем эта действующая сила получает и границу, и то время как в качестве простой способности она была безграничною, появилась реальность, но бесконечность исчезла. Для того чтобы описать в пространстве фигуру, мы должны ограничить бесконечное пространство; чтобы представить себе изменение во времени, мы должны разделить единое время. Итак, мы достигаем реальности лишь путем ограничения; утверждения или истинного положения — лишь путем отрицания или исключения; определения — лишь путем прекращения нашей свободной определенности.

Однако путем простого исключения никогда во веки веков не возникла бы реальность, и из простого ощущения никогда не возникло бы представление, если б не существовало того, из чего делается исключение, если б безусловное действие духа не относилось отрицание к чему-то положительному, если б отрицание не переходило в противоположение; это действие духа называется суждением или мышлением, а результат его — мыслью.

Пока мы не определяем в пространстве места, для нас вообще не существует пространства; однако мы никогда не определили бы места без абсолютного пространства. То же самое справедливо и по отношению ко времени. Для нас вообще не существует времени, пока нам не дано мгновение; но мы никогда не имели бы представления о мгновении, если б не существовало вечности. Итак, мы, конечно, достигаем целого лишь через части, безграничного лишь через границу; однако мы в то же время получаем часть только через целое, границу только через безграничное.

Итак, когда утверждают, что прекрасное ведет человека от ощущения к мышлению, то это отнюдь не следует понимать в том смысле, что прекрасное может заполнить пропасть, отделяющую ощущение от мышления, страдательность от деятельности. Эта пропасть бесконечна, и без посредства какой-либо новой и самостоятельной способности из единичного никогда во веки веков не возникнет общее, из случайного — необходимое. Мысль есть непосредственное действие этой безусловной способности, которая, правда, обнаруживается благодаря побуждению со стороны чувства, однако в своем обнаружении эта способность столь мало зависит от ощущений, что проявляется именно в противоположении им. Самостоятельность, с которою она действует, исключает всякое чужое влияние. Красота может стать средством для человека перейти от материи к форме, от ощущений к законам, от ограниченного к безусловному бытию не тем, что она помогает мышлению (что заключает в себе явное противоречие), а лишь тем, что красота дарует силам мышления свободу обнаружения, согласного с собственным

законодательством.

Это, однако, предполагает возможность ограничить свободу мыслительных сил, что, невидимому, противоречит понятию самостоятельной способности. Дело в том, что способность, которая извне получает только материал для своей деятельности, может быть задержана лишь отрицательным путем, то есть устранением материала, и тот показывает непонимание природы духа, кто приписывает чувственным страстям силу, могущую положительным образом угнетать свободу духа. Правда, опыт доставляет множество примеров того, что усиление чувственности влечет за собой соответствующее угнетение силы разума; однако, вместо того чтобы выводить эту слабость духа из силы аффекта, следует, наоборот, преобладающую силу аффекта объяснить слабостью духа; ибо физические чувства могут противопоставить человеку силу лишь в том случае, когда дух свободно отказался от обнаружения собственной силы.

Желая этим объяснением предупредить одно возражение, я, кажется, запутался в другом и спас самостоятельность духа лишь за счет его единства; ибо каким образом дух может в себе самом найти основания как для недеятельности, так и для деятельности, если он сам не разделен, если он сам себе противоположен?

Здесь мы должны вспомнить, что имеем дело с конечным духом, а не с бесконечным. Конечен дух, который становится деятельным не иначе, как через пассивность, который достигает безусловного лишь путем ограничения, который действует и образует только поскольку получает материал извне. Такой дух соединяет в себе побуждения к форме или абсолютному с побуждением к содержанию или границе, являющиеся условиями, вне которых он не мог бы ни иметь, ни удовлетворять первое побуждение. В какой мере в одном и том же существе могут сосуществовать две столь противоположные тенденции — это задача, которая может затруднить метафизика, но не трансцендентального философа. Этот вовсе не задается целью объяснить возможность вещей и удовлетворяется определением знаний, из которых может быть понята возможность опыта. А так как опыт столько же невозможен без этого противоположения в духе, сколько и без его абсолютного единства, то трансцендентальный философ с полным правом устанавливает необходимость обоих понятий как условий опыта, не заботясь о возможности их соединения. Но -это сосуществование двух основных побуждений вовсе не противоречит безусловному единству духа, если только мы будем различать самый дух от этих двух побуждений. Оба побуждения действительно существуют и действуют в нем, но сам он не есть ни материя, ни форма, ни чувственность, ни разум — это, кажется, недостаточно взвесили те, кто представляет себе дух человеческий действующим самостоятельно лишь тогда, когда его деятельность согласуется с разумом, а когда он противоречит разуму, считают его пассивным. Каждое из этих двух основных побуждений, развившись, жаждет, согласно своей природе и по необходимости, удовлетворения; но именно потому, что оба они необходимы и что оба направлены на противоположные объекты, взаимно уничтожается это двойное понуждение, и воля получает полную свободу выбора среди них. Итак, воля относится к этим двум побуждениям, как сила (как основание действительности), но ни одно из них не может стать само по себе силою, противною другому. Положительнейшее побуждение к справедливости, которого отнюдь не лишен и насильник, не удерживает этого последнего от несправедливости, подобно тому как живейшее искушение наслаждения не может увлечь человека с сильной волей к нарушению его правил. В человеке нет иной силы, кроме его воли, и только то, что уничтожает человека, смерть и потеря сознания, может уничтожить в нем внутреннюю свободу.

Необходимость вне нас определяет наше состояние, наше бытие во времени путем ощущений. Последние совершенно произвольны, и мы должны

претерпевать действие в той форме, в какой оно на нас влияет. Таким же образом необходимость внутри нас обнаруживает нашу личность под влиянием ощущений, путем противоборства им, ибо самосознание не может зависеть от воли, которая предполагает его. Это непосредственное обнаружение личности не есть наша заслуга, как и отсутствие его не есть наша оплошность. Только от того следует требовать разума, то есть безусловной последовательности и универсальности сознания, кто обладает самосознанием; до этого он не человек, и от него нельзя ожидать действия, соответственного человеческой природе. И как метафизик не может объяснить себе границ, которые свободный и самостоятельный дух испытывает от ощущений, точно так же и физик не понимает бесконечности, которая обнаруживается в личности по причине этих границ. Ни отвлечение, ни опыт не ведут нас обратно к источнику, из коего проистекают наши понятия об общности и необходимости; раннее появление во времени скрывает их от наблюдателя, а сверхчувственное происхождение — от метафизика. Но как бы то ни было, самосознание появилось, а вместе с неизменным его единством установлен и закон единства для всего, что существует для человека, для всего, что должно возникнуть благодаря человеку путем его познания и деятельности. Уже в возрасте чувственности появляются неизбежные, неподдельные, непонятные понятия истины и нрава; и вечное во времени, а необходимое в случайности становятся заметными, без того чтобы мы были в состоянии сказать, откуда и каким путем они возникли. Так возникают ощущение и самосознание, без всякого содействия субъекта, и это возникновение обоих лежит столь же за пределами пашен воли, сколь и за пределами нашего познания.

Но если оба действительны и если человек путем ощущения получает опыт определенного существования, а путем самопознания опыт своего безусловного существования, то вместе с объектами обоих проявляются и два основных побуждения человека. Чувственное побуждение возникает вместе с жизненным опытом (с началом индивида), разумное—с опытом закона (с началом личности), и только теперь, когда оба стремления получили бытие, дана его человеческая сущность. Пока этого нет, в человеке все происходит по закону необходимости; но теперь его покидает рука природы, и его уже дело сохранить их человечность, которую природа вложила в него и проявила в нем. Как только в нем начнут действовать два противоположных основных побуждения, тотчас оба теряют свою принудительность и противоположность двух необходимостей позволяет возникнуть свободе *.

* Во избежание всяких недоразумений я замечу, что всякий раз, когда здесь речь идет о свободе, имеется в виду не та свобода, которая присуща человеку как существу интеллектуальному и которая не может быть ему дана или отнята, но лишь та, которая основывается на его смешанной природе. Тем, что человек вообще действует только разумно, он доказывает свободу первого рода; тем, что он в рамках материи действует разумно и под властью законов разума действует материально, он доказывает свободу второго рода. Можно было бы последнюю свободу объяснить просто естественной возможностью первой.

ПИСЬМО 20

Уже из самого понятия свободы ясно, что на нее нельзя влиять, но из предшествующего с тою же необходимостью следует, что свобода есть следствие природы (понимая это слово в самом обширном смысле), а не дело человека, так что свобода может быть и естественными средствами усилена и задержана. Свобода возникает лишь тогда, когда человек закончен, когда оба побуждения развились в нем; итак, она должна отсутствовать, пока человек не развился полностью, пока одно из обоих побуждений исключено, и напротив, свобода вновь

восстанавливается всем тем, что возвращает человеку его полноту.

Возможно, однако, указать момент как в целом роде, так и в единичном человеке, когда человек еще не закончен и когда в нем действует лишь одно из обоих побуждений. Мы знаем, что человек начинает непосредственной жизнью, чтобы закончить формой, что он ранее индивид, чем личность, что он переходит к бесконечности от ограничения. Итак, чувственное побуждение обнаруживается ранее, чем разумное, ибо ощущение предшествует сознанию, и в этом приоритете чувственного побуждения мы находим разгадку всей истории человеческой свободы.

Ибо существует момент, когда побуждение к жизни, которому еще не противодействует побуждение к форме, действует как нечто природное и необходимое; когда чувственность является силою, ибо бытие человека еще не началось, так как в самом человеке не может быть иной силы, кроме воли. Однако в состоянии мышления, к которому человек теперь должен перейти, наоборот, именно разум должен быть силою, и место физической необходимости должна заступить необходимость логическая или моральная. Итак, сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем закон заступит место ощущения. Недостаточно того, чтобы началось нечто, чего ранее не было; необходимо, чтобы прекратилось нечто, что ранее было. Человек не может непосредственно перейти от ощущения к мышлению; он должен сделать шаг назад, ибо только благодаря тому, что уничтожается известная определенность, может наступить противоположная. Итак, чтобы заменить страдательность самостоятельностью и пассивное определение активным, он должен мгновенно освободиться от всякого определения и пройти через состояние простой определенности. Таким образом ему необходимо в известном смысле вернуться к отрицательному состоянию простой неопределенности, в котором он находился в то время, когда ничто еще не влияло на его чувства. Это состояние было лишено всякого содержания, и теперь необходимо соединить равную неопределенность и равно безграничную определенность с наивозможно большим содержанием, ибо непосредственно из этого состояния должно возникнуть нечто положительное. Определение, которое человек получает благодаря ощущениям, должно быть удержано, ибо он не должен терять реальность, но вместе с тем оно должно быть уничтожено, поскольку оно есть ограничение, ибо должна наступить неограниченная определенность. Итак, задача состоит в том, чтобы в одно и то же время и уничтожить и сохранить определенность состояния, а это возможно лишь одним способом, а именно противоположением ей иной определенности. Чашки весов находятся в равновесии, пока они пусты, но они также будут находиться в равновесии, если на них положить одинаковую тяжесть.

Итак, дух переходит от ощущения к мышлению путем некоторого среднего настроения, в котором чувственность и разум одновременно деятельны, но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую силу и создают путем противоположения отрицание. Это среднее настроение, в котором дух не испытывает ни физического, ни морального понуждения, но деятелен и тем и иным способом, заслуживает быть названным свободным настроением по преимуществу, и если состояние чувственной определенности назвать физическим, а состояние разумного определения назвать логическим и моральным, то это состояние реальной и активной определенности следует назвать — эстетическим *.

* Для читателей, которым не вполне доступно истинное значение этого слова, коим невежество столь злоупотребляло, будет бесполезно следующее объяснение: все вещи, способные стать явлением, могут быть представляемы в четырех различных отношениях. Предмет может непосредственно относиться к нашему физическому состоянию (нашему бытию и благополучию) — в этом физическое его существо; или же он может относиться к уму и доставлять нам

познания — это его логическое существо; или же предмет может относиться к нашей воле и может быть рассматриваем как предмет выбора для разумного создания— это моральное его существо; или же, наконец, предмет может относиться к совокупности, ко всем нашим различным силам, не будучи объектом для каждой в отдельности,— это эстетическое его существо. Человек может быть приятным нам своею услужливостью; он может своею беседою наводить нас на размышление; он может своим характером внушать нам уважение; наконец, он может независимо от всего этого нравиться нам только как явление, без того, чтобы мы при его обсуждении принимали в расчет какой-либо закон или имели в виду какую-либо цель. В последнем качестве мы оцениваем его эстетически. Точно так же можно говорить о воспитании здоровья, о воспитании ума, о воспитании нравственности, о воспитании вкуса и восприимчивости к красоте. Это последнее имеет в виду гармоническое развитие совокупности наших чувственных и духовных сил. Я еще отмечу здесь ради полноты, что часто под влиянием ложного вкуса и ошибочного рассуждения вносят в понятие эстетического понятие произвольного (хотя эти письма об эстетическом воспитании не имеют почти иной цели, как устранение, той ошибки); дух в эстетическом настроении свободен и даже в высшей мере свободен от всякого принуждения, однако он отнюдь не свободен от законов, и эстетическая свобода отличается от логической необходимости при мышлении и от нравственной необходимости при волеизъявлении только тем, что законы, по которым действует при этом дух, не сознаются и не кажутся принуждением, так как не вызывают противодействия.

ПИСЬМО 21

Существует, как я отметил в начале предшествующего письма, двоякого рода состояние определенности и двоякого рода состояние определенности. Теперь я могу пояснить это положение.

Дух определим лишь постольку, поскольку он вообще неопределен; но он в то же время определим постольку, поскольку не исключительно определен, то есть поскольку не ограничен в своем определении. Первое — простое отсутствие определения (дух не имеет границ, ибо не имеет и реальности); второе — эстетическая определенность (дух не имеет границ, ибо содержит в себе всю реальность).

Дух определен, поскольку он только ограничен; но он определен также и постольку, поскольку он ограничивает себя своею собственною безусловною мощью. В первом положении дух находится, когда он ощущает, во втором, когда он мыслит. Итак, то, что мышление представляет собой по отношению к определению, эстетическое расположение представляет собой по отношению к определенности; первое — это ограничение вследствие внутренней неисчерпаемой силы, второе — это отрицание вследствие внутренней бесконечной полноты. Подобно тому как ощущение и мышление соприкасаются лишь в одной точке, а именно в том, что в обоих состояниях дух определен, что человек является исключительно одним из двух — или индивидом, или личностью,— во всем же остальном они до бесконечности различны,— точно так же и эстетическая определенность лишь в одном пункте совпадает с простою неопределенностью, а именно в том, что обе исключают определенное бытие, будучи во всем остальном столь же различны, как ничто и все, то есть бесконечно. Если представлять себе последнюю, то есть неопределенность, происходящей от недостатка, пустою бесконечностью, то следует реальную ее противоположность, то есть эстетическую свободу определения, представлять как заполненную бесконечность. Это представление полнейшим образом совпадает с тем, что изложено в предыдущем исследовании.

Итак, в эстетическом состоянии человек является нулем, если обращать внимание лишь на единичный результат, а не на всю способность и если принять в

расчет отсутствие всякой особой определенности. Поэтому следует вполне согласиться с теми, которые считают прекрасное и расположение духа, проистекающее из прекрасного, совершенно безразличными и бесплодными с точки зрения познания и убеждения. Они совершенно правы, ибо красота в отдельности не доставляет ровно ничего ни рассудку, ни воле; она не преследует никакой отдельной интеллектуальной или моральной цели; она не находит ни единой истины, не помогает выполнению какой-либо обязанности, одним словом — в одинаковой мере не способна создать характер и просветить рассудок. Итак, эстетическая культура нисколько не определяет личного значения или достоинства человека, поскольку они могут зависеть от него самого, и ею достигается лишь одно, что человеку дается теперь природная возможность сделать из себя то, что он хочет, что ему вполне возвращается свобода быть тем, чем он должен быть.

Но как раз этим достигнуто нечто бесконечное. Ибо как только мы вспомним, что человек был лишен именно этой свободы благодаря одностороннему понуждению со стороны природы в ощущениях и благодаря исключительному законодательству разума в мышлении, мы должны рассматривать эту способность, которая ему возвращается в эстетическом настроении как величайший дар, как дар человеческой природы. Конечно, человек уже обладает человеческой природой и форме предрасположения, ранее всякого определенного состояния, в котором она могла бы проявиться, но на деле он теряет ее в каждом определенном состоянии, в какое он попадает, и она должна быть ему возвращаема вновь через посредство эстетической жизни каждый раз, когда он хочет перейти в противоположное состояние *.

* Правда, быстрота, с которой некоторые характеры переходят от ощущений к мышлению и к решениям, делает едва заметным или даже вовсе незаметным эстетическое настроение, через которое они должны были пройти в это время. Подобные люди не могут продолжительное время выносить состояние неопределенности и бурно стремятся к цели, которой не находят в состоянии эстетической неограниченности. Напротив, эстетическое состояние значительно распространяется у других, а именно у тех, которые находят наслаждение в чувстве духовной полноты, а не в единичном его действии. Насколько первые боятся пустоты, настолько для вторых невыносимо ограничение. Мне незачем напоминать, что первые созданы для деталей и для второстепенных дел, вторые же (предполагая, что они соединяют с своей способностью и реальность) предназначены для целого и для крупных ролей.

Итак, не только поэтически дозволительно, но и с точки зрения философской справедливо называть красоту нашей второй соиздательницей. Ибо, хотя она дает нам человечность лишь в возможности, предоставляя нашей свободной воле осуществить эту возможность в тон или другой мере, все же красота имеет нечто общее с нашей первоначальной соиздательницей, природой, которая тоже дарует нам лишь возможность человечности, пользование же ею предоставляется нашему собственному волевому определению.

ПИСЬМО 22

Итак, если эстетическое расположение духа в одном отношении должно быть приравнено нулю, а именно поскольку мы будем смотреть на единичные и определенные следствия, то в другом отношении его нужно рассматривать как состояние высшей реальности, поскольку мы обращаем внимание на отсутствие всяких границ и на сумму тех сил, которые совокупно в нем действуют. Итак, нельзя отказать в правоте и том, которые эстетическое состояние считают плодотворнейшим для познания и нравственности. Они совершенно правы; ибо

расположение духа, которое заключает в себе всю человеческую природу в целом, по необходимости должно в возможности заключать и каждое отдельное ее выражение; расположение духа, которое устраняет из всей человеческой природы всякие ограничения, должно по необходимости устранить их и из каждого отдельного ее обнаружения. Именно потому это расположение благоприятствует всем функциям человеческой природы без различия, что оно не принимает под свое покровительство одной какой-либо функции в отдельности, и потому оно не покровительствует какой-либо отдельной функции, что в нем находится основание всех их. Все остальные упражнения дают духу какое-нибудь специальное умение, но зато полагают в нем и особое ограничение, лишь эстетическое ведет к безграничному. Всякое другое состояние, в каком бы мы могли очутиться, указывает нам на предшествующее и для своего разрешения нуждается и последующем; только эстетическое представляет целое само в себе, так как оно соединяет в себе все условия своего возникновения и продолжения. Только в нем мы чувствуем себя изъятыми из потока времени, и наша человеческая природа проявляется в такой чистоте и неприкосновенности, как будто бы она еще нисколько не поддавалась влиянию внешних сил.

Что льстит нашим чувствам путем непосредственного ощущения, то делает нашу нежную и подвижную душу доступной всякому впечатлению, но в той же мере делает нас менее способными к усилию. Что напрягает наши умственные силы и приглашает к отвлеченному мышлению, то укрепляет наш дух ко всякого рода сопротивлению, но в той же степени делает его более грубым и менее впечатлительным, в какой поощряет большую самостоятельность. Поэтому-то как одно, так и другое по необходимости ведет в конце концов к истощению, ибо материя не переносит продолжительного лишения формирующей силы, а сила не может быть долгое время без материи, стремящейся принять форму. Напротив, предавшись наслаждению истинной красотой, мы в этот миг в одинаковой мере владеем нашими деятельными и страдательными силами, и тогда мы способны с одинаковой легкостью обратиться как к серьезному делу, так и к игре, к покою и к движению, к уступчивости и к противодействию, к отвлеченному мышлению и к созерцанию. Вот это высокое душевное равновесие и свобода духа, соединенные с силою и бодростью, и дают то настроение, которое должно оставлять в нас истинное художественное произведение: лучшего пробного камня подлинной эстетической доброкачественности не существует. Если после наслаждения подобного рода мы предпочтительно расположены к какой-либо особой деятельности или особой впечатлительности, к другому же мы оказываемся непригодными и нерасположенными, то это является безошибочным доказательством того, что мы не испытали чистого эстетического действия, независимо от того, заключалась ли причина нашей неудачи в предмете, или в образе нашего ощущения, или же в том и другом вместе (как это почти всегда бывает).

Так как в действительности чисто эстетического действия не бывает, то превосходство известного произведения искусства может состоять лишь в большем его приближении к идеалу эстетической чистоты, и при всей свободе, до какой оно может возвыситься, мы все же его воспримем в своеобразном расположении и в особом направлении духа. Род известного искусства тем благороднее и отдельное проявление его тем совершеннее, чем более общим является расположение и чем менее ограничено направление духа, которое вызвано этим родом искусства и этим отдельным его произведением. Это можно проверить на произведениях различных искусств, а также на различных произведениях одного и того же искусства. Хорошая музыка вызывает в нас возбужденную восприимчивость, прекрасное стихотворение — оживление воображения, а прекрасное произведение скульптуры или здание — пробуждение рассудка” но тот дурно выбрал бы время, кто пригласил бы нас к

отвлеченному мышлению после высокого музыкального наслаждения, или же направил бы нас на размеренную повседневную житейскую деятельность непосредственно после высокого поэтического наслаждения, или захотел бы воспалить наше воображение и поразить чувство непосредственно после созерцания прекрасных картин и скульптур. Причина в том, что даже самая содержательная музыка стоит в более близкой связи с чувствами благодаря ее материалу, чем то может допустить истинная эстетическая свобода; что самое удачное стихотворение более участвует в произвольной и случайной игре воображения, как своей среды, чем то позволяет внутренняя необходимость истинно прекрасного; что самая превосходная статуя благодаря определенности ее понятия и — она-то, может быть, еще более всех других — граничит с серьезной наукой. Однако эти особые связи все более и более теряются в зависимости от степени высоты, какой достигает известное произведение этих трех родов искусства, и то, что различные отрасли искусства в их действии на души становятся все более и более похожими, не нарушая при этом своих объективных границ, есть необходимое и естественное следствие их совершенства. Наиболее высокая и благородная музыка должна стать образом и действовать на нас со спокойной силою произведения античной древности; скульптура в ее высшем совершенстве должна стать музыкою и трогать нас своей непосредственно чувственной стороной; поэзия в ее высшем развитии должна нас мощно охватывать подобно музыке, но в то же время должна нас окружить, подобно пластике, спокойной ясностью. Именно тем обнаруживается совершенство стиля во всяком искусстве, что он умеет устранить специфические рамки искусства, не уничтожая его специфических преимуществ и придавая ему более общий характер благоразумным пользованием особенностями искусства.

И не только ограничения, зависящие от специфического характера известного искусства, должен своей обработкой преодолеть художник, но также и ограничения, вытекающие из материала, с которым ему приходится работать. В истинно прекрасном произведении искусства все должно зависеть от формы, и ничто — от содержания, ибо только форма действует на всего человека в целом, содержание же — лишь на отдельные силы. Содержание, как бы ни было оно возвышенно и всеобъемлюще, всегда действует на дух ограничивающим образом, и истинной эстетической свободы можно ожидать лишь от формы. Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться содержанию. Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполне свободною и не пораненною; она должна выйти из заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною, как и из рук бога или творца. Самый легкомысленный предмет должен получить такую обработку, чтобы мы остались расположенными перейти непосредственно от него к самой строгой серьезности. Самый строгий материал должен быть так обработан, чтобы в нас осталась способность непосредственного перехода от него к самой легкой игре. Искусства аффекта, к коим принадлежит трагедия, не представляют противоречия этому требованию; ибо, во-первых, они не вполне свободные искусства, так как они служат определенной (патетической) цели, а во-вторых, ни один истинный ценитель искусства не станет отрицать того, что даже произведения подобного рода тем совершеннее, чем более они даже в сильнейшей буре аффекта щадят духовную свободу. Существует искусство страсти, но страстное искусство — это противоречие, ибо неизбежное следствие прекрасного — освобождение от страстей. Столь же противоречиво понятие искусства поучительного (дидактического) или

нравственно улучшающего (морального), ибо ничто в такой мере не противоречит понятию красоты, как стремление сообщить душе определенную тенденцию.

Однако если известное произведение искусства вызывает впечатление только содержанием, то это еще не всегда доказывает отсутствие в нем формы; это может столь же часто свидетельствовать лишь об отсутствии чувства формы у ценителя. Если он слишком вял или напряжен, если он привык воспринимать все только рассудком или только чувством, то он даже в самом цельном произведении обратит внимание только на части, и даже при самой прекрасной форме — только на содержание. Будучи восприимчивым только по отношению к грубой стихии, он должен, чтобы найти наслаждение в эстетической организации какого-либо произведения, раздробить ее, а потом уже бережно собрать то расчлененное, что художник с бесконечным искусством старался спрятать в гармонии целого. Интерес ценителя будет или моральным, или физическим, но только не эстетическим, каким ему бы следовало быть. Такие читатели наслаждаются серьезным, патетическим стихотворением, точно проповедью, а наивным и шутливым — точно опьяняющим напитком; и если они достаточно безвкусны, чтобы ждать назидания от трагедии или эпопеи — будь то хотя бы “Мессиада”, — то они, несомненно, будут оскорблены песней в анакреонтическом или катулловском роде.

ПИСЬМО 23

Я вновь берусь за нить моего исследования, которую оборвал только для того, чтобы из выставленных мною положений сделать применение к искусствам и к оценке их созданий.

Итак, переход от страдательного состояния ощущения к деятельному состоянию мышления и воли совершается не иначе, как при посредстве среднего состояния эстетической свободы, и хотя это состояние само по себе несколько не влияет ни на наше разумение, ни на наши убеждения и, следовательно, оставляет вполне незатронутым наше интеллектуальное и моральное достоинство, все ж это состояние есть необходимое условие, без коего мы никак не можем достичь разумения и убеждений. Одним словом, нет иного пути сделать чувственного человека разумным, как только сделав его сначала эстетическим.

Но разве — быть может, возразите вы — так безусловно необходимо такое посредничество? Неужели истина и долг сами по себе не могут найти доступа к чувственному человеку? На это я должен ответить: не только могут, но они безусловно должны найти свою определяющую силу только в самих себе, и ничто не противоречило бы ранее мною изложенному более, чем если бы меня приняли за защитника противоположного мнения. Я с очевидностью доказал, что красота ничего не дает ни рассудку, ни воле, что красота не вмешивается в дело мышления и решения, что красота лишь делает человека способным к должному пользованию тем и другим, но несколько не предрешает этого пользования. При этом нет нужды в какой-либо посторонней помощи, и чистая логическая форма, понятие, должна непосредственно обращаться к рассудку, подобно тому как чистая моральная форма, закон — к воле.

Однако я утверждаю, что возможность этого, то есть того, чтобы для чувственного человека существовала только чистая форма, — дается лишь эстетическим расположением духа. Истина не есть нечто, что могло бы быть воспринятым извне, подобно действительности или чувственному бытию предметов; она есть нечто самостоятельное и свободно создаваемое мышлением; именно этой самостоятельности, этой свободы и недостает чувственному человеку. Чувственный человек определен уже (физически) и, следовательно, не имеет свободной определенности; эту потерянную определенность он необходимо должен сперва приобрести, прежде чем будет в состоянии заменить страдательную определенность действительной. Однако он не может приобрести ее иным путем, как

только потерю пассивной определенности, которую он владел, или же через обладание активной, к которой ему следует еще перейти. Если бы он только лишился пассивной определенности, то он вместе с нею потерял бы и возможность активной, ибо мысль нуждается в теле и форма может получить реальность только в материале. Итак, он должен уже обладать формой, он должен быть определен одновременно и пассивно и активно, то есть он должен стать эстетичным.

Итак, благодаря эстетическому расположению духа открывается самодеятельность разума уже в сфере чувственности, и сила ощущения является сломленной уже в своих собственных пределах, физический же человек является настолько облагороженным, что духовному остается только развиваться по законам свободы из первого. Поэтому-то шаг от эстетического состояния к логическому и моральному, (от красоты к истине и долгу) бесконечно легче, чем шаг от физического состояния к эстетическому (то есть от простой слепой жизни к форме). Первый шаг может быть сделан человеком уже благодаря его свободе, так как при этом он должен лишь войти в себя, а не выходить из своих пределов, лишь ограничить, а не распространить свою природу; эстетически настроенный человек будет произносить общепригодные суждения, будет действовать общепригодно, лишь только он захочет того. Природа должна ему облегчить шаг от грубой материи к красоте, где должна ему открыться совершенно новая внутренняя деятельность, и воля бессильна по отношению к настроению, которое ведь создает самую волю. Чтобы эстетического человека привести к разумению и к высоким помышлениям, достаточно представить ему важные побудительные причины, в то время как нужно вполне пересоздать природу чувственного человека, чтобы добиться от него чего-либо подобного. В первом случае часто достаточно лишь повода к какой-либо возвышенной ситуации (которая действует самым непосредственным образом на волю), чтобы сделать из человека героя или мудреца; во втором случае человека нужно перенести под совершенно иное небо.

Итак, одна из важнейших задач культуры состоит в том, чтобы подчинить человека форме уже в чисто физической его жизни и сделать его, насколько это зависит от царства красоты, эстетическим; ибо только из эстетического, а не из физического, может развиваться моральное состояние. Для того чтобы человек в каждом отдельном случае обладал способностью делать свое суждение и свою волю суждением всего рода, чтобы он находил выход из ограниченного бытия к бесконечному и поднимался из зависимого состояния к самостоятельности и свободе, необходимо позаботиться о том, чтобы он ни на миг не оставался только индивидом и не служил только закону природы. Для того чтобы стать способным и готовым к переходу от узкого круга природных целей к целям разумным, он должен подготовиться к последним, будучи еще во власти первых, и должен выполнить с некоторою свободою духа, то есть по закону красоты, уже свое физическое назначение.

И сделать это он может, насколько притом не впадая в противоречие со своей физической целью. Требования, предъявляемые к нему природой, касаются лишь того, что он выполняет, то есть лишь содержания его деятельности; но целями природы вовсе не предопределен способ, каким он действует, не предопределена форма. Напротив, требования разума строго ограничены формой его деятельности. Насколько необходимо ради его морального назначения, чтобы он был чисто моральным, чтобы он обнаружил абсолютную самостоятельность, настолько безразлично для его физического назначения, будет ли он чисто физическим, будет ли он сохранять безусловную пассивность. Итак, по отношению к последнему вполне зависит от его произвола, выполнит ли он свое природное назначение лишь как чувственное существо, как сила природы (то есть как сила, которая действует лишь постольку, поскольку испытывает воздействие), или в то же время и как безусловная

сила, как разумное существо, причем не может быть, конечно, вопроса о том, что более соответствует его достоинству. Выполнение по чувственному побуждению того, на что он должен был решиться по мотивам чистого долга, настолько же унижает и позорит его, насколько облагораживает и возвышает стремление к законности, гармонии, к неограниченности в тех случаях, когда простой смертный удовлетворяет лишь дозволенное желание *.

* Это умное и эстетически свободное обращение с повседневной действительностью, где бы оно ни встречалось, всюду представляет собой признак благородной души. Благородной называется вообще та душа, которая обладает даром превращать в бесконечное даже самое пустячное дело и самый незначительный предмет благодаря способу обращения с ним. Благородной называется всякая форма, которая придает печать самостоятельности тому, что по своей природе имеет лишь служебное значение (есть только средство). Благородный дух но довольствуется тем, что сам свободен; он стремится к тому, чтобы сделать свободным и все окружающее, даже безжизненное. Красота же есть единственно возможное выражение свободы в явлении. Поэтому-то преобладающее выражение рассудка в лице, в каком-либо произведении искусства и т. д. никогда не может стать благородным; оно же может быть и красивым, ибо оно выдвигает зависимость (которую нельзя отделить от целесообразности), вместо того чтобы скрыть ее.

Моральный философ учит нас, правда, что никогда нельзя сделать больше того, что требует долг; и. он совершенно прав, если имеет в виду отношение действий к нравственному закону. Однако в действиях, имеющих лишь отношение к определенной цели, перейти за пределы этой цели в область сверхчувственного (что в данном случае может лишь означать переход физического в эстетическое) — это значит перейти и за пределы долга, ибо долг может лишь предписать святость воли, но не святость самой природы. Итак, хотя с точки зрения моральной нельзя превзойти долг, но это возможно с точки зрения эстетической, и такое поведение называется благородным. Многие смешивали эстетический излишек с моральным и, будучи соблазнены видом благородства, вносили произвол и случайность в самую мораль, чем уничтожали ее самое, именно потому, что в благородстве всегда заметен излишек, ибо то, что могло бы иметь одну лишь материальную ценность, получает свободную и формальную ценность и соединяет с внутренней ценностью, которую ему необходимо иметь, еще и внешнюю, без которой оно могло бы обойтись.

От благородного поведения следует отличать возвышенное. Первое переступает пределы нравственной обязанности; второе этого не делает, хотя мы и ценим его гораздо выше первого. Ценим же мы его не потому, что оно превосходит разумное понятие своего объекта (нравственного закона), а потому, что оно превосходит опытное понятие своего субъекта (то есть наше знание доброты и силы человеческой воли). Наоборот, благородное поведение мы ценим не потому, что оно превосходит природу субъекта, из которой, напротив, оно должно истекать вполне свободно, а потому, что оно от природы своего объекта (физической цели) распространяется в царство духа. В первом случае мы, можно сказать, удивляемся победе, которую предмет, дело одерживают над человеком; во втором случае мы удивляемся тому подъему, который человек сумел сообщить предмету.

Одним словом, в области истины и нравственности ощущение не имеет права распоряжаться, однако в сфере блаженства может властвовать форма и побуждение к игре.

Итак, уже здесь, на безразличном поле физической жизни, человек должен начать

моральную жизнь; он должен обнаружить самодеятельность уже в сфере страдательного, свободу разума уже в сфере чувственных границ. Уже на свои склонности он должен наложить закон своей воли, он должен, если мне будет дозволено это выражение, перенести борьбу против материн в ее собственные границы для того, чтобы ему не было надобности сражаться против этого страшного врага на священной почве свободы. Он должен научиться благороднее желать, для того чтобы у него не было необходимости возвышенно добиваться. Этого можно достигнуть путем эстетической культуры, которая подчиняет законам красоты то, в чем человеческий произвол не связан ни законами природы, ни законами разума, - и которая обнаруживает внутреннюю жизнь уже в форме, даваемой ею жизни внешней.

ПИСЬМО 24

Итак, можно различать три момента или три ступени развития, которые неизбежно и в определенном порядке должны пройти как единичный человек, так и весь род, если они хотят выполнить весь круг своего назначения. Отдельные периоды, правда, могут быть сокращены или удлинены в силу случайных причин, находящихся в зависимости от внешних предметов или свободного произвола человека; однако ни одна ступень не может быть опущена вовсе, а также не может быть изменен порядок их следования ни природою, ни волею. Человек в его физическом состоянии подчиняется лишь своей природе, в эстетическом состоянии он освобождается от этой силы и овладевает ею в нравственном состоянии.

Что представляет собою человек, прежде чем красота вызовет в нем свободное наслаждение и спокойная форма умиротворит дикарскую жизнь? Он вечно однообразен в своих целях, постоянно изменчив в своих суждениях, себялюбив, не будучи самим собою, необуздан, не будучи свободным, раб, не подчиненный определенному распорядку. В этот период времени мир для него представляется роком, а не предметом; все имеет для него бытие, поскольку служит его бытию; что ему не приносит чего-либо или не отнимает у него чего-либо, то не существует для него. Каждое отдельное явление представляется ему единичным или отделенным, подобно тому, каким он сам является в ряду существ. Все существующее существует для него лишь благодаря велению минуты; всякое изменение для него есть совершенно свежее творение, ибо необходимость в нем самом уничтожает необходимость вне его, которая соединяет изменчивые образы в цельном мироздании и удерживает на сцене закон в то время, когда индивид спасается бегством. Напрасно природа чередует перед его чувствами свое богатое многообразие, он видит в ее пышном изобилии лишь свою добычу, в ее силе и величии лишь своего врага. Он или бросается на предметы и страстно стремится обладать ими, или же вещи действуют разрушительно на него, и он их с отвращением отталкивает от себя. В обоих случаях его отношение к чувственному миру выражается непосредственным соприкосновением, и он, постоянно мучимый напором этого мира, вечно угнетенный властною потребностью, ни в чем ином не находит успокоения, как только в изнеможении, и видит пределы лишь в истощении желаний.

Грудь крепкая, титанов мощь и сила
Наследьем сыновей его и внуков
Отчасти были; но вокруг чела им
Бог выковал железный словно обруч. .
Совет, воздержность, мудрость и терпенье
Он скрыл от диких, тусклых взоров их,
В неистовство их прихоть превращалась, ,
Неистово бушуя без границ.
(Гете, "Ифигения в Тавриде")

Незнакомый со своим человеческим достоинством, он далек от того, чтобы уважать его в других, и, сознавая свою дикую алчность, он боится ее в каждом существе ему подобном. Никогда не узнает он в себе других, а лишь в других себя, и общество все уже и уже замыкает его в его личности, вместо того чтобы возвести его до понимания рода. В этой сумрачной ограниченности протекает его темная жизнь до тех пор; пока благодетельная природа не сбросит с его омраченных чувств бремени материи, пока рефлексия не отделит его самого от предметов и пока предметы не появятся, наконец, отраженными в сознании.

Само собою разумеется, этого грубого природного состояния, в том виде, в каком оно здесь изображено, нельзя указать ни у какого определенного народа, ни в какую определенную эпоху; это только идея, но идея, с которой в частности самым точным образом совпадает опыт. Человек, можно сказать, никогда не находился в этом животном состоянии, но он никогда вполне и не освобождался от него. Даже в самых грубых субъектах можно найти несомненные следы свободы разума, точно так же как у самых образованных людей бывают моменты, напоминающие это мрачное естественное состояние. Человеку свойственно соединять в своей природе самое высокое и самое низкое, и если достоинство его покоится на строгом различии первого от второго, то счастье основано на умелом уничтожении этого различия. Культуре, долженствующей привести в согласие его достоинство с его счастьем, надлежит, стало быть, позаботиться о наивысшей чистоте этих двух начал при теснейшем их союзе.

Первое проявление разума в человеке не представляет собою еще начала его человечности. Эта последняя зависит от его свободы, и разум начинает с того, что делает безграничную свою чувственную зависимость,— явление в важности и всеобщности своей, как мне кажется, недостаточно разъясненное. Мы знаем, что разум проявляется в человеке тем, что требует без- условного (то есть обоснованного самим собою и необходимого), и это требование, не могущее найти удовлетворения ни в каком отдельном состоянии его физической жизни, заставляет его совершенно покинуть физическое и подняться от ограниченной действительности к идеям. Но хотя истинный смысл этого требования заключается в том, чтобы вырвать человека из оков времени и возвести его от мира чувственного к идеальному, однако это требование, будучи неверно понято,— что почти неизбежно в эту эпоху господства чувственности,— может быть направлено на физическую жизнь и может, вместо того чтобы сделать человека независимым, повергнуть его в самое ужасное рабство.

И это действительно так. На крыльях фантазии покидает человек узкие пределы настоящего времени, в которое он поставлен исключительной животностью, дабы стремиться вперед к неограниченной будущности, однако сердце его еще не перестало жить единичным и служить минуте, в то время как пред его головокружительным воображением встает бесконечное. Это тяготение к безусловному захватывает его врасплох во всей его животности,— и так как в этом смутном состоянии все его стремления направлены лишь на материальное и временное и ограничены лишь его индивидуальностью, то указанное требование побудит его только к тому, чтобы распространить в беспредельное свою индивидуальность, вместо того чтобы отвлечься от нее; вместо того чтобы стремиться к форме, он будет искать неиссякаемой материи; вместо неизменного он будет стремиться к вечному изменению и безусловному ограждению своего временного бытия. То же самое побуждение, которое, будучи применено к его мышлению и деятельности, повело бы его к истине и нравственности, теперь, отнесенное к его пассивности и чувствованию, создает лишь беспредельное желание, безусловную потребность. Итак, первые плоды, которые достанутся человеку в царстве духа,— это забота и страх: и та и другой — следствия разума,—

не чувственности, но разума, который по ошибке схватился не за тот предмет и относит свой императив непосредственно к материи. Все безусловные системы эвдемонизма суть плоды этого древа, независимо от того, касаются ли они лишь сегодняшнего дня, или целой жизни, или от чего эти системы вовсе не становятся более достойными уважения — целой вечности. Безграничная продолжительность бытия и благоденствия только ради самого бытия и благоденствия представляют лишь идеал вожделения, то есть требование, которое могло бы быть поставлено лишь животностью, стремящейся в безусловное. Человек благодаря подобному проявлению разума теряет лишь счастливую ограниченность животного, не выигрывая ничего по отношению к своей человечности; он теперь получает перед животным лишь то незавидное преимущество, что благодаря стремлению вдаль теряет господство над настоящим моментом; но во всей этой беспредельной дали он не ищет ничего иного, кроме настоящего момента.

Однако чувственность еще долгое время будет подтасовывать ответ, хотя бы разум и не ошибался ни относительно своего объекта, ни в постановке вопроса. Разум стремится согласно своему понятию к безусловному соединению и безотносительному основанию тотчас, как только человек начал пользоваться рассудком и стал связывать окружающие явления по причинам и целям. Для того чтобы только быть в состоянии поставить себе подобное требование, человек должен переступить за пределы чувственности, но чувственность пользуется именно этим требованием, для того чтобы вернуть себе беглеца. Именно здесь находится та точка, в которой он мог бы, окончательно покинув чувственный мир, взлететь от него к чистому царству идей; ибо рассудок вечно остается в пределах условного и вечно предлагает вопросы, не будучи в состоянии дойти до предела. Но так как человек, о котором здесь идет речь, еще не способен к подобному отвлечению, то он будет искать в сфере своего чувства то, чего он не может найти в сфере своего чувственного познания и чего он еще не ищет за пределами этого познания, в чистом разуме; и, невидимому, он это найдет. Правда, чувственность не доставляет ему ничего такого, что имело бы основание в нем самом и являлось бы законом для себя, но она показывает ему нечто, что не знает никакого основания и не уважает никакого закона. Так как человек не может успокоить вопрошающего рассудка каким-либо последним и внутренним основанием, то он заставляет его по крайней мере смолкнуть благодаря понятию безосновательного и останавливается в пределах слепой зависимости от материи, так как он еще не может постичь высокой необходимости разума. Человек делает выгоду определителем всех своих действий, а слепой случай — властителем мира, ибо чувственность не знает другой цели, кроме выгоды, и другой причины, кроме слепого случая.

Даже самое святое в человеке, моральный закон, не может избежать этой подделки при первом своем появлении в чувственности. Так как моральный закон лишь запрещает и говорит против интересов чувственного себялюбия, то он должен казаться человеку до тех пор чем-то внешним, пока он не научится смотреть на это себялюбие как на нечто внешнее, а на голос разума как на свое истинное я. Человек чувствует таким образом только оковы, которые налагаются на него разумом, но не чувствует бесконечного освобождения, им даруемого. Не подозревая в себе достоинства законодателя, он испытывает лишь гнет и бессильное противодействие подданного. Так как чувственное побуждение предшествует в опыте нравственному, то первое и дает закону необходимости начало во времени, положительное происхождение, и путем несчастнейшего из заблуждений человек делает незыблемое и вечное в себе признаком изменяющегося. Человек старается убедить себя в том, что понятия справедливого и несправедливого суть лишь законоположения, установленные волей и не имеющие значения сами по себе во все времена. Подобно тому как он в объяснении отдельных явлений природы

переступает за пределы природы и ищет вне ее того, что может быть найдено только в ее внутренней закономерности, точно так же он переступает границы разума в объяснении нравственности и теряет свою человеческую сущность, ища божество на этом пути. Не удивительно, что религия, купленная ценой отказа от его человеческой сущности, является достойной такого происхождения, что человек не считает безусловно и вечно обязательными законы, которые и не проистекают от вечности. Человек имеет дело не со святым существом, а лишь с могучим. Поэтому дух его богопочитания — это страх, который его унижает, а не благоговение, которое подымает его в собственных глазах.

Хотя эти многообразные отклонения человека от идеала его назначения и не все могли иметь место в одну и ту же эпоху,— так как человек на пути от бес смыслил к ошибке, от безволия к порче воли должен пройти много ступеней,— все ж все эти ступени суть следствия природного состояния, ибо во всех жизненное побуждение господствует над побуждением к форме. Единственно властный в нем принцип — это материя, независимо от того, сказал ли разум свое слово, и господствует ли над ним физическое начало с слепой необходимостью, или же разум еще недостаточно очистился от чувственности, и моральное еще служит физическому,— во всяком случае человек по своей тенденции еще существо чувственное, с тою только разницей, что в первом случае оно неразумное, а во втором — разумное животное. Но он не должен быть ни тем, ни другим, он должен быть человеком. Природа не должна властвовать над ним исключительно, а разум не должен господствовать условно над ним. Оба законодательства должны сосуществовать совершенно независимо друг от друга и все ж быть вполне согласными.

ПИСЬМО 25

Пока человек в своем первом, физическом, состоянии лишь пассивно воспринимает чувственный мир, лишь ощущает,— до тех пор он еще в полном с ним единении, и именно потому, что он сам еще только мир, для него еще не существует мира. Только когда он в эстетическом состоянии выходит из своих пределов или созерцает, тогда его личность выделяется из мира, и тогда для него возникает мир, ибо он перестал составлять с ним единое целое*.

* Я еще раз напоминаю, что, хотя эти два периода необходимо должны быть разделяемы в идее, в опыте они более или менее смешиваются. Не следует также думать, что было время, когда человек пребывал исключительно в этом физическом состоянии, и время, когда он вполне от него отделился. Как только человек видит предмет, он перестает пребывать исключительно в физическом состоянии, и в то же время ему не избежать этого природного состояния, пока он будет видеть предметы, ибо он может видеть, только поскольку он ощущает. Те три момента, которые я указал в начале 24-го письма, правда, определяют рассматриваемые в целом три различных эпохи в развитии всего человечества и в полном развитии отдельного индивида, но они могут быть указаны и в каждом отдельном восприятии объекта и представляют собою, одним словом, необходимые условия всякого чувственного познания.

Размышление (рефлексия) представляет собою первое свободное отношение человека к мирозданию, его окружающему. Если вожделение непосредственно схватывает предмет, то размышление отдаляет свой предмет и делает его настоящей и неотъемлемой своей собственностью именно тем, что ограждает его от страсти. Необходимость природы, нераздельно господствовавшая над человеком в состоянии простого ощущения, в рефлексии отпускает его, в чувствах наступает тотчас примирение, и само вечно изменчивое время прекращает свой бег, разбросанные лучи сознания соединяются воедино, и облик бесконечного, форма,

отражается на преходящем фоне. Как только свет засветил в человеке, так нет более ночи и вне его, как только мир наступает внутри его, тотчас прекращается и буря в мироздании и борющиеся силы природы находят покой в твердых пределах. Не удивительно поэтому, что древние эпопеи говорят об этом великом событии внутри человека как о революции, происшедшей во внешнем мире, и мысль, одерживающую победу над временем, символизируют в образе Зевса, прекращающего царство Сатурна.

Раб природы, человек, только ощущающий, становится ее законодателем, раз он ее мыслит; природа, которая ранее господствовала над ним как сила, теперь стоит перед его оком как объект. То, что является для него объектом, не имеет над ним силы, ибо, чтобы стать объектом, оно должно испытать его силу. Поскольку он придает материи форму и пока он придает ее, до тех пор он неуязвим для ее воздействия; ибо уязвить дух может только то, что отнимает у него свободу, а он именно доказывает свою свободу тем, что оформляет бесформенное. Только там место страху, где масса, грубая и бесформенная, господствует и где в неясных границах колеблются мутные очертания; человек выше всякой природной угрозы, как только он сумеет придать ей форму и превратить ее в свой объект. Подобно тому как человек начинает выказывать свою самостоятельность по отношению к природе как явлению, так он выказывает и свое достоинство по отношению к природе как силе, и с благородной свободой он восстает против своих богов. Они сбрасывают личину привидений, которыми они пугали его детство, и, становясь -его представлением, поражают его собственным обликом. Божественное чудовище жителя Востока, слепую мощью хищного зверя управлявшее миром, принимает в греческой фантазии приветливый облик человечества, царство титанов гибнет, и бесконечная мощь' укрощена бесконечною формою.

Но пока я искал лишь выхода из материального мира и перехода к миру духовному, вольный поток моего воображения привел меня к самому центру духовного мира. Красота, которую мы ищем, лежит за-нами; мы перескочили через нее, разом перейдя от непосредственной жизни к чистому образу и к чистому объекту. Такой скачок несвойственен человеческой природе, и чтобы идти в шаг с нею, мы должны будем вновь вернуться к чувственному миру.

Красота, конечно, есть создание свободного созерцания, и с нею мы вступаем в мир идей, но — это следует отметить — не покидая по этой причине чувственного мира, как это происходит при познании истины. Истина — чистый продукт отвлечения от всего материального и случайного; она — чистый объект, в котором не должно оставаться ограниченности субъекта, чистая самодеятельность, без примеси пассивности. Правда, и от высочайшего отвлечения можно найти обратный путь к чувственности; ибо мысль соприкасается с внутренним чувством, и представление - логического и морального единства переходит в чувство ощущаемого согласия. Но, когда мы наслаждаемся познаниями, мы в то же время очень отчетливо отличаем наше представление от нашего ощущения; последнее мы рассматриваем как нечто случайное, чего бы могло и не быть, отчего познание не прекратилось бы и истина не перестала бы быть истиною. Но совершенно тщетною была бы попытка отделить представление красоты от этого отношения к способности ощущать, поэтому-то нам мало рассматривать первую как следствие второй, но мы должны и ту и другую рассматривать как находящиеся во взаимодействии, то есть одновременно представляющие собой и следствие и причину. В нашем наслаждении познанием мы без труда различаем переход от деятельности к пассивности и совершенно отчетливо замечаем, что первая прекратилась, когда наступает вторая. В нашем наслаждении красотой, напротив того, нельзя заметить подобной смены деятельности и пассивности, и рефлексия здесь настолько сливается с чувством, что нам кажется, будто мы непосредственно ощущаем форму. Итак, хотя красота

действительно есть предмет для нас, ибо рефлексия есть условие, благодаря которому мы можем иметь ощущение красоты, однако в то же время красота есть состояние нашего субъекта, ибо чувство является условием, благодаря которому мы можем иметь представление красоты. Она есть форма, ибо мы ее созерцаем, но в то же время она есть жизнь, ибо мы ее чувствуем. Одним словом, красота одновременно и наше состояние и наше действие.

И именно потому, что она одновременно и то и другое, красота и является победоносным доказательством того, что пассивность несколько не исключает деятельности, материя — формы и ограничение — бесконечности, что таким образом моральная свобода человека несколько не уничтожается необходимою физической зависимостью. Она это доказывает, и я должен прибавить, что доказать нам это может только она. Ибо, так как в наслаждении истиною или логическим единством ощущение не необходимо соединено с мыслью, по следуют за нею случайно, то истина может нам лишь доказать, что чувственная природа может следовать за разумною и наоборот, но не может доказать того, что они сосуществуют, что они находятся во взаимодействии, что они должны быть безусловно и необходимо соединены. Напротив, из устранения чувства во время мышления и мысли во время чувствования нужно заключить о несоединимости их природы, и действительно, аналитики не умеют представить лучшего доказательства существования чистого разума в человеческом существе, как то, что он необходим. Но так как при наслаждении красотою или эстетическим единством происходит действительное соединение и превращение материи в форму, пассивности в деятельность, то соединимость этих двух природ, проявление бесконечного в конечном, а следовательно, и возможность самой возвышенной человеческой природы доказываются именно этим.

Итак, нас не должен более смущать переход от чувственной зависимости к моральной свободе, ибо красота представляет как доказательство совершенного сосуществования первой со второю, так и доказательство того, что человеку незачем отбрасывать материю для того, чтобы проявить себя в качестве духа. Но если человек свободен уже в сообществе с чувственностью, как это показывает факт красоты, и если свобода есть нечто безусловное и сверхчувственное, как это необходимо вытекает из ее понятия, то не может быть больше вопроса о том, как человек, исходя из ограничения, достигает безусловного, как он противодействует чувственности своим мышлением и волею, ибо все это имеется уже в красоте. Одним словом, не может быть вопроса о том, как он переходит от красоты к истине, которая в возможности уже заключена в красоте, а только лишь о том, как он пролагает себе путь от повседневной действительности к эстетической или от голого жизненного чувства к чувству красоты.

ПИСЬМО 26

Так как лишь эстетическое расположение духа, как я показал в предшествующих письмах, порождает свободу, легко понять, что оно не может возникнуть из свободы и, стало быть, не может иметь своего источника в нравственности. Оно должно быть даром природы; только счастливый случай может разорвать оковы физического состояния и привести дикаря к красоте.

Зародыш ее одинаково не разовьется там, где скудная природа лишила человека всякой улады, равно и там, где расточительная — избавила его от необходимости всякого усилия, где тупая чувственность не имеет потребностей и жгучая страсть не находит насыщения. Не там распускается ее прелестная почка, где человек-троглодит скрывается в пещерах, будучи вечно одиноким и не находя вне себя человечности, и не там, где он, как номад, кочует в больших воинских скопищах, будучи вечно лишь числом и никогда не находя в себе человечности,— но лишь там, где он мирно живет в собственной хижине сам с собою и где он, переступив порог,

тотчас говорит со всем родом. Только там чувства и ум, воспринимающая и творческая сила разовьются в счастливом равновесии, которое есть душа красоты и условие человечности, где легкий эфир делает чувства восприимчивыми к всякому легчайшему прикосновению и энергичная теплота оживляет богатую материю, где царство слепой массы уже побеждено в мертвом создании и победоносная форма облагородила даже самые ничтожные творения; где в радостных условиях и под благословенным небом только деятельность ведет к наслаждению и только наслаждение к деятельности; где из самой жизни проистекает священный порядок и из закона порядка возникает только жизнь; где воображение вечно бежит от действительности и все же никогда не покидает природной простоты.

Каким же явлением обнаруживается в дикаре вступление его в царство человечности? Как бы далеко ни шли мы вглубь веков, оно одно и то же у всех племен, вышедших из рабства животного состояния: наслаждение видимостью, склонность к украшениям и играм.

Величайшая тупость и величайший ум проявляют некоторое сродство в том, что оба ищут лишь реального и совершенно невосприимчивы к простой видимости. Покой первой может быть нарушен лишь непосредственным присутствием предмета в восприятии, точно так же как второго может успокоить лишь применение его понятий к фактам опыта; одним словом, глупость не может подняться над действительностью и рассудок не может остановиться ниже истины. Таким образом, поскольку потребность реальности и привязанность к действительности являются лишь следствием недостатка, постольку равнодушие к реальности и внимание к видимости являются истинным расширением человеческой природы и решительным шагом к культуре. Во-первых, это есть доказательство внешней свободы; ибо воображение приковано крепкими узами к действительности, пока нужда повелевает и потребность понуждает; только когда потребность удовлетворена, может развиться свободная сила воображения. Во-вторых, однако, это доказывает и внутреннюю свободу, ибо обнаруживает в нас силу, которая приводится в движение сама собою, независимо от внешней причины, и обладает достаточной энергией, чтобы отразить натиск материи. Реальность вещей — это их дело; видимость вещей — это дело человека, и дух, наслаждающийся видимостью, радуется уже не дому, что он воспринимает, а тому, что он производит.

Само собою разумеется, что здесь речь идет лишь об эстетической видимости, отличной от действительности и истины, не о логической, которую часто смешивают с эстетической,— которую, следовательно, любят потому, что она есть именно видимость, а не за то, что она представляется чем-то лучшим. Только первая видимость есть игра, тогда как вторая есть обман. Почитать за нечто видимость первого рода — не может служить во вред истине; ибо нет опасности подмены, которая единственно и может вредить истине; презирать ее — значит вообще презирать всякое искусство, сущность которого состоит в видимости. Однако рассудку иногда случается быть в своем стремлении к реальности настолько нетерпимым, что он презрительно судит о всяком искусстве прекрасной видимости, потому что оно есть только видимость; но это может случиться с рассудком лишь в том случае, когда он вспомнит о вышеупомянутом сродстве. Я буду еще иметь повод поговорить особо о необходимых границах прекрасной видимости.

Сама природа поднимает человека от реальности к видимости, снабдив его двумя чувствами, которые ведут к познанию действительности лишь путем видимости. В зрении и слухе производящая впечатление материя уже отстранена от чувства, и предмет, который мы непосредственно осязаем низшими животными чувствами, отдален от нас. То, что мы видим глазом, отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок перескакивает через свет к самим предметам. Предмет осязания — это насилие, которое мы испытываем; предмет зрения и слуха — это форма, которую

мы создаем. Пока человек пребывает в дикости, он наслаждается только при посредстве низших чувств, которым в этом периоде чувства видимости лишь служат. Он или вовсе не возвышается до зрения, или же оно его не удовлетворяет. Как только глаз начинает доставлять ему наслаждение и зрение для него получает самостоятельную ценность — он тотчас становится эстетически свободным и в нем развивается побуждение к игре.

Тотчас по проявлении побуждения к игре, находящего наслаждение в видимости, разовьется и побуждение к воспроизведению, которое рассматривает видимость как нечто самостоятельное. Дойдя до способности различить видимость от действительности, форму от тела, человек в состоянии и отделить их друг от друга; он уже сделал это, различив их. Итак, способность к воспроизводящему искусству уже вообще дана вместе с формальной способностью. Стремление же к ней покоится на ином предрасположении, о котором мне здесь незачем говорить. Более позднее или раннее развитие эстетического побуждения к искусству в человеке зависит только от степени любви, с которой он способен сосредоточиваться на одной видимости.

Так как всякое бытие происходит от природы, как чуждой силы, всякая же видимость первоначально от человека, как представляющего субъекта, то человек лишь пользуется своим безусловным правом собственности, когда он отнимает от сущего видимость и распоряжается ею по собственным законам. С ничем не обузданною свободой он может соединять то, что природа разъединила, если только это соединимо в мысли, и разделять соединенное природою, если только его рассудок допускает подобное разъединение. Для чело века в этом случае нет ничего святого, кроме собственного закона, лишь бы только он соблюдал границу, отделяющую его область от бытия предметов или области природы.

Этим человеческим правом господства он пользуется в искусстве видимости, и чем строже он здесь разграничит “мое” и “твое”, чем осторожнее он отделит форму от сущности, тем большую самостоятельность он придаст первой,— тем более расширит он не только царство красоты, но охранит также и границы истины, ибо он не может очистить видимость от действительности, не освободив в то же время и действительность от видимости.

Однако это самодержавное право принадлежит ему исключительно в мире. видимости, только в бесплотном царстве воображения и только до тех пор, пока он в области теории добросовестно отказывается утверждать его бытие, и до тех пор, пока в области практики он отказывается творить бытие при посредстве этой видимости. Вы видите таким образом, что поэт в одинаковой мере переступает за свои пределы как в том случае, когда он приписывает своему идеалу бытие, так и в том, когда он при его помощи стремится к осуществлению определенного бытия. Ибо и то и другое он может осуществить не иначе, как или злоупотребляя своим правом поэта, вторгшись в область опыта своим идеалом и присвоив себе право определять простою возможностью действительное бытие, или же тем, что он отказывается от прав поэта, дозволяет опыту вторгнуться в область идеала и тем ограничивает возможность условиями действительности.

Видимость эстетична только поскольку она откровенна (то есть открыто отказывается от всяких притязаний на реальность) и поскольку она самостоятельна, то есть отрешается от всякой помощи реальности. Когда видимость лжива и подделывает реальность, когда она нечиста и нуждается для своего действия в реальности, тогда она есть не что иное, как низкое орудие для материальных целей, и отнюдь не служит доказательством свободы духа. Впрочем, вовсе не необходимо, чтобы предмет, в котором мы находим прекрасную видимость, был лишен реальности, лишь бы только наше суждение о нем не обращало внимания на эту реальность; ибо поскольку оно обращает на реальность внимание, постольку

суждение не эстетично. Живая женская красота нравится нам, конечно, столько же, и даже немного более, чем нарисованная, но поскольку первая нравится нам более, чем последняя, постольку она нравится не только как самостоятельная видимость и не только чистому эстетическому чувству; последнему и живое должно нравиться лишь как явление и действительное только как идея; правда, чтобы наслаждаться в живом предмете одною лишь чистою видимостью, требуется гораздо более высокая степень эстетической культуры, чем для того, чтобы обходиться без жизни при созерцании видимости.

Там, где мы у единичного человека или целого народа встречаемся с откровенною и самостоятельною видимостью, там мы вправе предположить и ум, и вкус, и всякие связанные с ними навыки, там идеал управляет действительной жизнью, честь торжествует над собственностью, мысль — над наслаждением и мечта бессмертия — над бытием. Там единственно страшным является общественное мнение, и оливковый веночек там будет в большем почете, чем пурпуровое платье. К ложной и хилой видимости прибегает лишь бессилие и извращенность, и отдельные люди и целые народы доказывают свое моральное ничтожество и эстетическое бессилие, когда они “подделывают действительность видимостью и (эстетическую) видимость действительностью”, — то и другое часто сочетается в одно.

Итак, краткий и ясный ответ на вопрос: “В какой мере допустима видимость в моральном мире?” — таков:

в той мере, в какой эта видимость эстетична, то есть такая видимость, которая не стремится ни замещать реальности, ни быть замещаемой реальностью. Эстетическая видимость отнюдь не может быть опасною чистоте нравов, и где дело обстоит иначе, там с легкостью можно показать, что видимость не была эстетическою. Только человек, незнакомый, например, с формами обращения, примет уверения вежливости, представляющие общую форму, за признак личного расположения и, разочаровавшись, будет жаловаться на притворство. Но только человек, ничего не понимающий в формах обращения, призовет фальшь на помощь, чтобы быть вежливым, и станет льстить, чтобы понравиться. Первому еще недостает понимания самостоятельной видимости, поэтому он может ей придать значение лишь путем истины, второму недостает реальности, и он хотел бы заменить ее видимостью.

Нет ничего более обычного, чем жалоба некоторых тривиальных современных критиков, что в мире исчезла всякая подлинность и что ради видимости пренебрегают сущностью. Хотя я вовсе не чувствую призвания оправдывать современность от этого упрека, однако уже из того обобщения, которое строгие ценители нравов придают своему обвинению, совершенно ясно, что они жалуются не только на ложную видимость современной эпохи, но и на истинную. Даже исключение, которое они еще делают в пользу красоты, касается скорее хилой, чем самостоятельной видимости. Они нападают не только на румяна обманщика, заслоняющие истину и становящиеся на место действительности, они ревнуют и к благодетельной видимости, заполняющей пустоту и прикрывающей бедность, а также и к идеальной видимости, облагораживающей пошлую действительность. Их строгая любовь к истине по справедливости оскорблена испорченностью нравов, только жаль, что и вежливость они относят к испорченности. Им не нравится, что внешний мишурный блеск так часто затемняет истинные добродетели, но не менее неприятно им и то, что требуют видимости от добродетели: но от приятной формы не отказываются тогда, когда за ней имеется и внутреннее содержание. Они недовольны отсутствием сердечности, мужественности и неподдельности прежних времен, но в то же время они желали бы вновь видеть угловатость и грубость первобытных нравов, тяжеловесность старых форм, прежнюю готическую

напыщенность. Подобными суждениями они оказывают такой почет материи самой по себе, который недостойн человека, обязанного ценить материальное лишь постольку, поскольку оно способно воспринять форму и служить для распространения царства идей. Итак, к подобным голосам незачем особенно прислушиваться вкусу нынешнего столетия, если только он может оказаться состоятельным перед приговором более высокой инстанции. Строгий судья красоты мог бы сделать нам упрек, что мы еще не постигли чистой видимости, что мы еще недостаточно отделили бытие от явления и таким образом не обезопасили еще границ обоих, но он не упрекнет нас в том, что мы придаем значение эстетической видимости (которую мы далеко еще не ценим так, как бы следовало). Этому упрека мы будем заслуживать до тех пор, пока не можем наслаждаться прекрасным в живой природе, без желания обладать им, восхищаться прекрасным в искусстве, не спрашивая о цели его, пока мы не признаем за воображением. собственного безусловного законодательства и не укажем на его достоинство тем, что станем оказывать уважение его созданиям.

ПИСЬМО 27

Хотя бы высокое понятие об эстетической видимости, которое я старался выяснить в предшествующих, письмах, и стало общепринятым, вам все же нечего бояться за реальность и истину. Оно не станет общепринятым, пока человек продолжает быть настолько необразованным, чтобы злоупотреблять им, а если б оно стало общепринятым, то это могло бы случиться лишь благодаря культуре, которая сделает всякое злоупотребление видимостью невозможным. Стремление к самостоятельной видимости требует большей способности к отвлечению, большей свободы сердца, большей энергии воли, чем необходимо человеку для того, чтобы ограничиться реальностью, и человек должен покончить с реальностью для того, чтобы достичь видимости. Как дурно выбрал бы он свой путь, если б направился к идеалу для того, чтобы сократить путь к действительности! Итак, видимость, как мы ее здесь выяснили, несколько не опасна для действительности; но тем большая опасность грозит видимости от действительности. Прикованный к материальному миру, человек долгое время заставлял видимость служить своим целям, прежде чем он признает за искусством идеала самостоятельную личность. Для этого необходим совершенный переворот всего способа ощущать, без чего человек не нашел бы даже доступа к идеалу. Мы можем таким образом предположить подобное пересоздание его природы и настоящее начало человечности там, где мы откроем следы свободной, незаинтересованной оценки чистой видимости. Следы подобного рода действительно встречаются уже в самых грубых попытках украшения человеческого бытия, которые человек делает, не опасаясь даже того, что он этим путем ухудшает чувственное содержание жизни. Как только человек начинает форму вообще предпочитать материи и не щадит реальности ради видимости (которую он, однако, за это должен признать), тотчас круг его животного бытия раскрывается, и он выходит на путь, которому нет конца.

Не довольствуясь тем, чем удовлетворяется природа и чего требует нужда, он стремится к роскоши; сначала, конечно, лишь к материальному избытку, для того чтобы скрыть от вождения его границы, чтобы обеспечить наслаждение и за пределами настоящей потребности; но вскоре он стремится и к избытку в разнообразии материи, к эстетической прибавке, чтобы удовлетворить и побуждение к форме, чтобы распространить наслаждение за пределы всякой потребности. Собирая лишь запасы для будущего пользования и уже заранее наслаждаясь ими в воображении, он переступает за пределы настоящего времени, не переступая пределов времени вообще: он наслаждается больше, но наслаждается не иначе. Однако, внеся в сферу своего наслаждения образы и обращая внимание на формы предметов, удовлетворяющих его желания, человек не только увеличивает свое

наслаждение в объеме и степени, но и облагораживает его качественно.

Правда, природа одарила и неразумные существа превыше их потребностей и посеяла в темной животной жизни проблеск свободы. Когда льва не терзает голод и хищник не вызывает его на бой, тогда неиспользованная сила сама делает из себя свой объект: могучим ревом наполняет лев звонкую пустыню, и роскошная сила наслаждается бесцельным расходом себя. Насекомое порхает, наслаждаясь жизнью, в солнечном луче, и, конечно, в мелодичном пении птицы нам не слышится крик вождения. Несомненно, и этих движениях мы имеем свободу, но не свободу от потребности вообще, а только от определенной, нынешней потребности. Животное работает, когда недостаток чего-либо является побудительной причиной его деятельности, и оно играет, когда избыток силы является этой причиной, когда избыток жизни сам побуждает к деятельности. Даже в неодушевленной природе мы находим такую расточительность сил и такую неопределенность назначения, которые в этом материальном смысле очень хорошо можно назвать игрою. Дерево дает бесчисленное множество почек, которые погибают, не развившись, и выпускает в погоне за питанием гораздо большее количество корней, ветвей, листьев, чем ему необходимо для сохранения себя самого и рода. Живые существа могут в радостном движении растратить все то, что дерево возвращает стихийному царству неиспользованным и неисчерпанным. Таким образом природа уже в царстве материи дает нам прелюдию безграничного и уже здесь отчасти сбрасывает оковы, которые она окончательно слагает с себя в царстве формы. Царство формы берет свое начало в принуждении потребностей или в физической подлинности и путем понуждения избытка или физической игры переходит к игре эстетической, и, прежде чем подняться над оковами целей в сферу высокой и свободной красоты, природа приближается к этой независимости по крайней мере издали в свободном движении, которое само для себя есть и цель и средство.

Подобно орудиям тела, и воображение имеет в человеке свободное движение и материальную игру, в которой оно, без всякого отношения к образу, наслаждается лишь своим своеволием и отсутствием оков. Если к этим играм фантазии отнюдь пока не примешивается форма и вся прелесть их заключается лишь и непринужденном ряде картин, то эти игры, хотя и свойственны только человеку, все же относятся лишь к его животной жизни и доказывают лишь его освобождение от всякого внешнего чувственного понуждения, не давая еще права заключать о самостоятельной творческой в нем силе *.

* Большинство игр, которые в ходу в обычной жизни, или полностью основаны на этом чувстве свободной смены идей, или же заимствуют от него свою главную прелесть. Именно эта независимость фантазии от внешних впечатлений и есть во всяком случае отрицательное условие ее творческой способности, хотя свободное течение образов само по себе вовсе не есть доказательство более богато одаренной природы, и именно наиболее слабые души особенно охотно предаются ему. Творческая сила достигает идеала только тем, что отрывается от действительности, и воображение должно освободиться от чужого закона в своей воспроизводящей деятельности, прежде чем начать творческую деятельность по собственным законам. Конечно, необходимо пройти большой путь от простого отсутствия закона к самостоятельному внутреннему законодательству, и должна проявиться совершенно новая сила, способность к идеям, — однако теперь эта сила может развиваться с большею легкостью, так как чувства ей не противодействуют, и неопределенное, по крайней мере отрицательно, граничит с бесконечным.

От этой игры свободного течения идей, которая еще совершенно материальна и всецело объяснима из законов природы, воображение в попытке свободной формы

делает, наконец, скачок к эстетической игре. Это нужно назвать скачком, ибо здесь проявляется совершенно новая сила; ибо здесь впервые в действия слепого инстинкта вмещается законодательный ум, покоряет произвольный образ действия воображения своему вечному и неизменному единству и налагает свою печать самостоятельности на изменчивое и печать бесконечности на чувственное. Но пока еще слишком сильна грубая природа, не знающая иного закона, кроме непрерывного стремления от одного изменения к другому, она будет противодействовать своим необузданным произволом необходимости, своим беспокойством — постоянству, своею зависимостью самостоятельности и своим недовольством — возвышенной простоте. Таким образом эстетическое побуждение к игре в этих попытках едва будет заметно, так как чувственное постоянно будет мешать своенравной прихотливостью и диким вожделением. Вот почему грубый вкус прежде всего хватается за новое и поразительное, пестрое, необычайное и причудливое, страстное и дикое и более всего избегает простоты и покоя. Он создает гротескные образы. Любит быстрые переходы, пышные формы, резкие контрасты, кричащие краски, патетическое пение. Прекрасным в эту эпоху называется лишь то, что возбуждает ;> тот вкус, что дает ему содержание,— но возбуждает к самостоятельному противодействию, но дает содержание к возможному творчеству, ибо в противном случае даже для такого вкуса это не было бы прекрасное. Итак, в форме его суждения произошла замечательная перемена: он стремится к этим предметам не потому, что они дают ему что-либо, а потому, что они его заставляют действовать; они нравятся ему не потому, что служат к удовлетворению потребности, а потому; что удовлетворяют закону, который звучит, хотя еще и невнятно, в его груди.

По вскоре он не довольствуется тем, что вещи ему нравятся; он сам желает нравиться, сначала при посредстве того, что принадлежит ему, а впоследствии и при посредстве того, что он сам представляет собою. То, чем он владеет, что он создает, не должно носить на себе следов служебности и боязливой формы его цели; его творение, кроме цели, ради которой оно создано, должно отражать в себе и острый ум, который его задумал, и любящую руку, которая его выполнила, веселый и свободный дух, который его избрал и представил. Теперь древний германец выискивает себе более блестящие звериные шкуры, более великолепные рога, более изящные сосуды, а житель Каледонии отыскивает самые красивые раковины для своих празднеств. Даже оружие теперь не должно быть лишь орудием устрашения, но и предметом удовольствия, и искусно сделанная перевязь стремится быть предметом внимания в такой же мере, как и смертоносное лезвие меча. Не довольствуясь тем, что в необходимое внесен эстетический излишек, свободное побуждение к игре, наконец, совершенно порывает с оковами нужды, и красота сама по себе становится объектом стремлений человека. Он украшает себя. Свободное наслаждение зачисляется в его потребности, и бесполезное вскоре становится лучшей долей его радостей.

Подобно тому как форма понемногу проникает извне в его жилище, в его утварь, его одежду, она постепенно овладевает и им самим, дабы сначала преобразить лишь внешнего, а потом и внутреннего человека. Прыжок от радости, не связанный никаким законом, становится пляскою, бесформенный жест становится красивым и гармоничным языком жестов; смутные звуки ощущений развиваются, начинают слушаться такта и слагаются в пение. Если троянское войско бросается на поле брани с пронзительным криком, подобно стае журавлей, то греческое приближается к нему тихо и благородною поступью. В первом случае мы видим задор слепых сил, во втором — победу формы и простое величие закона.

Представителей разного пола теперь сковывает более прекрасная необходимость, и участие сердца оберегает союз, который был заключен

изменчивым и причудливым вождением. Высвободившийся из мрачных оков, успокоенный глаз схватывает форму, душа созерцает душу, и место себялюбивого взаимного наслаждения заступает великодушная взаимная склонность. Желание расширяется и развивается в любовь, так же как человечность растворяется в своем объекте, и человек пренебрегает незначительной выгодой победы над чувствами ради того, чтобы одержать более благородную победу над волею. Потребность нравиться подвергает нежному суду вкуса и сильного. Он может силой взять наслаждение, но любовь должна быть подарком. Этой высшей награды он может достичь лишь формою, не материей. Он должен перестать действовать на чувство как сила и должен предстать пред рассудком как явление; он должен предоставить действовать свободе, так как он желает нравиться свободе. Подобно тому как красота разрешает спор различных натур в его простейшем и чистейшем образце, в вечной противоположности полов, так точно она разрешает его — или по крайней мере стремится к его разрешению — из запутанности общества как целого и по образцу свободного союза, заключенного между силою мужчины и нежностью женщины, старается примирить в нравственном мире мягкость с горячностью. Теперь слабость становится священной, а необузданная сила бесславною; несправедливость природы исправляется великодушием рыцарских нравов. Кого не может испугать никакая мощь, того обезоруживает милый румянец стыдливости, и слезы подавляют месть, которая не удовлетворилась бы кровью. Даже ненависть прислушивается к нежному голосу чести, меч победителя щадит обезоруженного врага, и гостеприимный очаг дымится для чужестранца на страшном берегу, где прежде его встречало только убийство.

Эстетическое творческое побуждение незаметно строит посреди страшного царства сил и посреди священного царства законов третье, радостное царство игры и видимости, в котором оно снимает с человека оковы всяких отношений и освобождает его от всего, что зовется принуждением как в физическом, так и в моральном смысле.

Если в динамическом правовом государстве человек противостоит человеку как некоторая сила и ограничивает его деятельность, если в этическом государстве обязанностям человека противопоставляется величие закона, которое связывает его волю, то в кругу прекрасного общения, в эстетическом государстве, человек может явиться лишь как форма, может противостоять только как объект свободной игры. Свободою давать свободу — вот основной закон этого государства.

Динамическое государство лишь делает возможным общество, покоряя природу природою же; этическое государство делает его (морально) необходимым, подчиняя единичную волю общей воле; только эстетическое государство может сделать общество действительным, ибо оно приводит в исполнение волю целого через природу отдельного индивида. Хотя уже потребности человека и заставляют его жить в обществе, а разум насаждает в нем основы общественности, однако только одна красота может придать ему общественные качества. Только вкус вносит гармонию в общество, так как он создает гармонию в индивиде. Все другие формы представления разделяют человека, ибо они основываются или исключительно на чувственной, или на духовной части его существа; только представление красоты делает человека цельным, ибо оно требует согласия его двух натур. Все другие формы общения разделяют общество, так как они относятся или к специальной восприимчивости каждого отдельного лица, или же к специальным способностям отдельных членов, то есть к тому, чем люди друг от друга отличаются; только общение в прекрасном соединяет людей, так как оно относится к тому, что всем обще. Чувственные наслаждения принадлежат нам лишь как, индивидам, и род, который живет в нас, не принимает в них участия, поэтому мы не можем сделать общими наши чувственные наслаждения, так как мы” не можем обобщить нашу

индивидуальность. Наслаждения познания доступны нам лишь как роду, причем мы тщательно устраним из нашего суждения всякий след своей индивидуальности; поэтому мы не можем сделать общими наши умственные наслаждения, так как мы не можем изгнать следов индивидуальности из суждения других в такой же мере, как из своего собственного. Только красотой мы наслаждаемся одновременно и как индивид и как род, то есть как представители рода. Чувственное благо может осчастливить лишь одного, так как оно покоится на присвоении, которое всегда заключает в себе и обособление; чувственное благо может и этого одного сделать лишь односторонне счастливым, ибо личность в нем не принимает участия. Безусловное благо может осчастливить человека лишь при условиях, которых нельзя, вообще говоря, предположить; ибо истина покупается ценой отречения, а в чистую волю верит лишь чистое сердце. Одна лишь красота делает всех счастливыми, и тот, кто находится под обаянием ее чар, забывает о своем ограничении. Никакое преимущество, никакое единовластие не терпимы, раз правит вкус и распространено царство прекрасной видимости. Это царство подымается до пределов, где разум господствует с безусловною необходимостью и исчезла всякая материя; оно опускается до пределов, где естественное побуждение правит со слепой силой, где форма еще не возникла да, даже на этих крайних пределах вкус не позволяет отнять у себя исполнительную власть, когда законодательная у него уже отнята. Безоглядное вождение должно отказаться от себялюбия, и приятное, которое обыкновенно лишь привлекает чувства, должно набросить сеть милосердия и на духовную сферу. Строгий голос необходимости, долг, должен изменить свою укорительную формулу, которую одно лишь противодействие оправдывает, и почтить податливую природу благородным доверием. Вкус выводит знания из мистерий науки под открытое небо здравого смысла и превращает собственность школ в общее достояние всего человеческого рода. Даже величайший гений должен сложить с себя в своей области величайшую власть и доверчиво снизойти к детскому пониманию. Сила должна позволить грациям связать себя, и упрямый лев должен покориться узде амура. Зато вкус окутывает своей смягчающей дымкой физические потребности, которые в своем обнаженном виде оскорбляют достоинство свободной души, и в милом призраке свободы скрывает от нас позорное родство с материей. Им окрыленное, даже раболепное продажное искусство подымает голову из праха, и оковы рабства, к которым прикоснулся жезл вкуса, одинаково спадают как с живого, так и с неодушевленного. В эстетическом государстве все, даже служебное орудие, является свободным гражданином, равноправным с самым благородным, и рассудок, насильно подчиняющий терпеливую толпу своим целям, должен спрашивать здесь о согласии. Итак, здесь, в царстве эстетической видимости, осуществляется идеал равенства, которое мечтатель столь охотно желал бы видеть реализованным и по существу, и если правда, что хороший тон созревает ранее всего и совершеннее всего у трона, то и здесь пришлось бы признать благодетельною судьбу, которая, как кажется, только для того ограничивает часто человека в действительности, чтобы погнать его в мир идей. Но существует ли такое государство прекрасной видимости и где его найти? Потребность в нем существует в каждой тонко настроенной душе; в действительности же его, пожалуй, можно найти, подобно чистой церкви и чистой республике, разве в некоторых немногочисленных кружках, образ действия которых направляется не бездушным подражанием чужим нравам, а собственной прекрасной природой; где человек проходит со смелым простодушием и спокойной невинностью через самые запутанные отношения; где он не нуждается ни в оскорблении чужой свободы ради утверждения собственной, ни в отказе от собственного достоинства, чтобы проявить грацию.

Янко Слава(библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com ||
<http://yanko.lib.ru> || lсq# 75088656 || Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> ||